



М.А. ВОРОНОВ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Михаил Алексеевич Воронов

Братья-разбойники

В повести, впервые опубликованной в 1872 году и имеющей автобиографический характер, автор повествует о светлой стороне детских лет, проведенных им в Саратове.

Содержание

#1	0005
I	0010
II	0032
III	0050
IV	0067
V	0080
VI	0093

Михаил Алексеевич Воронов

Братья-разбойники

(Картинки далекого прошлого)[1]

Годы моего детства, шумного и обильного разными тревожностями, я провел в С., большом, богатом и торговом приволжском городе. Многое, что относится к этим годам, разумеется, теперь уже стерто временем и безвозвратно улетело из памяти; но многое еще живет крепко и, как бы что-то происшедшее вчера лишь или третьего дня, так и носитя перед глазами. Так, например, прежде всего хорошо помнится мне наш старый дом, какой-то своеобразной, странной архитектуры, высокий-высокий и узкий такой, с высокою же, крутою и почти остроконечною кровлей и крохотными, точно подслеповатыми, окошками, более похожий на какую-нибудь сторожевую башню или на солдатскую будку больших размеров, чем на обыкновенный жилой каменный дом, какие мы привыкли видеть теперь. Кроме этого дома, в глубине двора, как теперь вижу, стоит не менее странный флигель, словно нарочно, в противоположность дому, низенький, расплывшийся во все стороны и в довершение всего — кособокий. Помню, например, наш маленький сад,

то есть огороженное частоколом место в несколько квадратных сажен, почему-то названное этим громким именем, место, на котором высился, кивая сухими ветвями, старый, дуплистый вяз, торчали две-три акации, запыленные и объединенные коровой, и росла, счетом, одна яблоня, а на этой яблоне, счетом же, выросло десять кислых и терпких яблок в год. О, эти коварные яблоки раздора! С каким нетерпением, помню, ждали мы хорошего, крепкого ветра, который сбил бы их прежде времени и дал бы нам случай ими полакомиться. Но ветра нет как нет... И вот вспоминаются мне трудные походы за этими соблазнительными, хотя и кислыми яблоками, точно за золотым руном, в темные июльские ночи, под сотнями самых разнообразных страхов и с риском быть пойманными и жестоко высеченными двуххвосткой. Ай-ай, и памятна же мне эта чертовская двуххвостка! Какими злодейскими вензелями, бывало, исписывала она наши детские спины за самую пустяшную провинность! А вот и знакомая крутая, почти вертикальная лестница, ведущая из сада на крышу нашего старого дома. Не

взобратся ли нам по ней, благо утро так обольстительно-прекрасно, да и бояться теперь некого, потому что отца нет дома? И вот мы разом наверху. Какая картина! Видите вон то необозримо-громадное зеркало вод, широко раскинувшихся направо и налево? Это — Волга... Во-он, далеко-далеко, бьется и борется с быстротой течения пароход, таща за собою целый караван, целый десяток подчалков. А эти белые гуси или лебеди, распутившие крылья на воде, это — суда,двигающиеся под парусами; а те черные точки, что как мухи ползают вдоль и поперек зеркала, по разным направлениям, это — рыбачьи лодки. А вон, по окраинам зеркала, по тому и другому берегу, весь этот необозримый лес — все это мачты высятся, все это суда стоят. Но, чу! что это за топот слышится на улице? Как бы нам не ввалиться в беду? Сойдемте поскорее, это, должно быть, отец. И действительно, вот он въезжает в ворота, верхом на высокой, костлявой, буланой башкирской лошади, гривастой, большеголовой и горбоносой. Отец, по обычаю, мрачен и бросает суровые взгляды направо и налево, как бы отыскивая, к чему

бы придрататься. Впереди всадника перекинут через седло большой мешок, а сзади второчены разные небольшие кульки и торбы, — все это означает, что отец вернулся с базара, где он закупал провизию. На крыльце флигеля, вижу я, отца встречает маленькая, худенькая женщина, с какою-то печатью покорности и тихой грусти на добром лице — это наша мать... Живо вспоминаются мне и глухие осенние вечера, когда отец с матерью уезжают куда-нибудь в гости и когда мы, дети, остаемся дома одни; когда на дворе бушует ветер и злится и назойливо рвется в ставни, словно и сердится, и плачет, и молит: «пусти-и!пусти-и!», когда в детскую душу невольно забирается какой-то безотчетный страх, и все мы сбиваемся в плотную кучу вокруг старой няньки: жужжит веретено, бесконечная тянется нитка, и, как эта нитка, такая же, кажется, бесконечная тянется заманчивая сказка няни о какой-нибудь вечно новой *жарптице*, о какой-нибудь *царевне Милонеге* или о чем-нибудь подобном.

Таким-то детским воспоминаниям я хочу посвятить мой настоящий рассказ, стараясь,

по возможности, точно и правдиво воспроизвести все то, что через много лет удержалось еще в моей слабой памяти. Если читатель найдет в моем рассказе много странного, даже маловероятного — пусть не смущается и не заподозревает автора в преувеличениях, но пусть порадуетя вместе со мною, потому что это будет означать только, что детская жизнь за последние годы значительно улучшилась и вышла из того русла, в котором билась она в наши дни. Напротив, было бы слишком грустно узнать, что и теперь еще все идет по-старому и что мои воспоминания для многих будут не более, как картиною их настоящей жизни. Да, это было бы вполне грустно... обидно!

Отец мой был отставной офицер, после долгой военной службы снова поступивший на службу же, но на этот раз — гражданскую. Уже одно такое вторичное поступление на службу ясно показывает, что мы были люди далеко не богатые; но если еще к этому прибавить, что нас, детей, было в семье восемь человек, то всякий поймет, что родителям моим жилось не совсем легко и что подумать им было-таки о чем. Разумеется, при такой массе детей и при весьма небольших отцовских средствах не могло быть и помину о разных детских приставниках и надсмотрщиках, гувернерах и гувернантках, — каждый карапуз, как только сползал с рук няньки, вставал на ноги и осмеливался высовывать свой нос за порог жилья, на двор, где так ласково играло солнышко, где кудахтали куры и звонко голосил горластый петух, — каждый, говорю, тогда уже должен был заботиться о себе сам. Потому почти никогда не случалось, чтобы карапуз, порезавший себе палец, или карапуз, набивший на лбу шишку, величиною с поря-

дочную картофелину, распускал нюни и бежал с подобными болестями к несуществующим защитникам и покровителям, — нет, каждый такой пострадавший прежде всего отыскивал тряпку, чтобы перевязать порезанный палец, или промышлял серебряную ложку и крепко, со слезами на глазах, тер ею ушибленный лоб, стараясь скрыть ушиб и разогнать скопившуюся кровь.

Нас было четыре брата и четыре сестры. Помещались мы в доме отца таким образом: отец, мать и сестры жили во флигеле, а мы, мальчики, в половине нижнего этажа дома (верхний этаж и другая половина нижнего отдавались жильцам), в двух комнатках, из которых, впрочем, одну занимали кучера, так как должность отца была такого рода, что он непременно обязан был держать лошадей. Старший брат был значительно старше нас, остальных троих братьев, и ему был родителями поручен надзор за нами, состоявший приблизительно в том, что он ежедневно угощал нас горячими затрещинами или силой выпихивал из комнаты на двор, когда ему почему-либо казалось, что мы докучаем или ме-

шаем ему. Этого старшего брата, признаться, мы и побаивались и в то же время порядочно-таки недолюбливали и, случалось, иногда, соединившись и сговорившись, нападали на обидчика, отчего происходил такой домашний Севастополь, после которого приходилось мало того что тереть лбы серебряными ложками, но еще и добывать иголки с нитками, потому что подобные битвы всегда оканчивались полнейшим разрушением нашего детского туалета. Впрочем, такие Севастополи случались очень редко, так как брат был не без хитрости и не нападал сразу на троих, а тузил нас поочередно, умея как-то ловко посягать между нами рознь и раздор.

— А! что? Наелся? наелся? — красные, как вареные раки, и едва переводя дух от усталости, дразнили мы брата по окончании битвы.

— Ну, да ладно, ладно! Еще посмотрим, кто наелся!

— Сюртучишко-то, смотри-ка, весь изорвали, — продолжали мы дразнить.

— Сюртучишко-то — ничего. А вот у Ваньки шишка-то какая на лбу, — вот это как?

— Э, брат! шишка-то пройдет; а вот, как ты

с рваным сюртучишком-то покажешься па-
пеньке?

— Что же? Я так и скажу, что вы изорвали.

— А мы про тебя скажем, что ты на нас ру-
башки разорвал. Что-о? Э! э! — высывывали
мы языки.

— Еще вы-то когда скажете, а я вот так сей-
час пойду, — выведенный из терпения, про-
возглашает брат и, вскочив с места, бежит
жаловаться отцу.

Мы, разумеется, тотчас же принимаем
свои меры, чтобы не быть застигнутыми
врасплох, то есть, проще говоря, выскакива-
ем из комнаты и стремглав шарахаемся кто
на двор, кто на чердак, кто куда, лишь бы
только спрятаться от отца, который немину-
емо сделает визит, да еще вместе со столь
ненавистной нам двухвосткой.

Но если мы не любили старшего брата и не
дружили с ним, то зато мы трое жили между
собой, что называется, душа в душу. У нас бы-
ло все общее: радости и огорчения, затеи и
планы, игрушки всякого рода, лакомства и,
наконец, деньги... то есть те скудные гроши,
которые дарили нам родители в большие

праздники и в дни именин. Особенно сближали нас между собою игрушки, которые мы должны были мастерить и приобретать сами, так как готовых игрушек родители нам никогда не покупали. И вот, например, в ростепель мы сооружали целую флотилию, состоявшую из нескольких судов и нескольких лодок. Разумеется, для того чтобы создать такую флотилию, сил одного человека было недостаточно, потому — работали сообща: один долбил дерево, другой ладил мачты, паруса, весла и рули, третий смолил, красил, оснащивал и т. д. Кроме того, для того чтобы наш маленький флот походил на флот настоящий и действовал, нужно было отводить и спускать воду, рыть каналы, запруживать, ставить плотины, — словом, нужны были силы нескольких работников; а такая совокупность сил была возможна лишь при той дружбе, какая связывала нас и делала общими наши интересы. Беда, бывало, если какой-нибудь не в меру усердный кучер, думая поскорее очистить двор, несколькими ударами пещни или лома разрушал все эти хитрые наши водные сооружения! О! тогда мы вставали, как один чело-

век, и нападали на разорителя, если не с яростью рассвирепевших львов, то, во всяком случае, с ожесточением обозлившихся петухов — били его руками и ногами, бодали головами, щипали, рвали зубами и проч. То же самое бывало, когда кто-нибудь из нас отправлялся на чужой двор играть в бабки с соседскими мальчиками, причем тащил с собою наше общее достояние — мешок с бабками, *плиту* (сердцевидный кусок железа — одна из принадлежностей игры), *налитки* (бабки, налитые свинцом), *ядро* и *чугунку* (тоже принадлежности игры), — и при этом кто-нибудь осмеливался посягнуть на такое наше общее достояние, — стрелой тогда по первому зову летели мы на выручку обиженного брата, разрушая все попадавшееся на пути и не раньше возвращались домой, как отбивши свой мешок да прихватив еще, кстати, в виде трофея, и всякую постороннюю движимость, подвернувшуюся под руку, от бабок до детских шапок включительно. Но особенными треволнениями сопровождалось всегда приготовление и запускание бумажного змея — забава, которую можно было позволять себе нечасто и

притом при обстоятельствах, особенно благоприятствовавших такому запусканью. Прежде всего, для такой забавы требовался довольно многосложный материал, как-то: бумага, драница, клей и нитки; потом, чтобы из этого материала приготовить змей, требовалось место, так как в комнате, в которой мы жили, клеить змей нам не позволил бы старший брат, в других же местах нам нужно было избегать зоркого глаза отца; затем, для того чтоб змей поднялся на требуемую высоту, нужен был достаточно сильный ветер; кроме того, чтобы иметь возможность запустить змей, нужно было еще выбрать такое время, когда отца не бывает дома; наконец, и запустивши-то змей, опять нужно было зорко следить за ним, нужно было всеми силами стараться уберечь его от соседних мальчиков, имевших обыкновение всякий такой змей *перекидывать*, то есть набрасывать тяжесть на нитку, на которой ходит змей, и затем притягивать его к себе. Вообще, вся эта хитрая и сложная процедура изготовления и запускания приблизительно шла таким образом, если только представить ее во всей ее полноте.

— Максимушка, а Максимушка! слышишь, миленький, какой ветер-то начинается? — задумавши пустить змей, с ласковым вопросом приступали мы к кучеру Максиму, несколько приглуповатому, но необыкновенно добродушному мужику, охотно помогавшему нам во всех наших затеях.

Максим не сразу поддавался на наши ласковые речи, но предварительно ломался, чувствуя, что в нем заискивают.

— Ну, и пущай его! — коротко отрезывал он.

— Вот бы змей-то запустить? — как-то нерешительно пытали мы Максима.

Глупый кучер ломался еще более.

— А мне что? кому охота — запущай!

— Ты сердишься на нас, Максимушка?

Максим нарочно хмурился и молчал.

— Да-а? — настаиваем мы.

— Обнаковенно.

— За что?

— А за то... за хорошие ваши дела, — вот за что! — глядя в сторону, бормотал Максим.

— Разве я тебя обидел? Разве я тебя обидел? — приступал я к суровому Максиму, не

чувствуя за собой никакой вины.

— А я? А я? — выступает за мною средний брат, Иван.

— Не об вас речь. Тут вас, обиждателей-то, прорва: кто обидел, тот схоронился, да и молчит.

Слова Максима попадают прямо в цель.

— Врешь, я тебя не обижал, — врешь, врешь! — с азартом выдвигается тогда вперед младший брат, Семен, худенький, маленький, с белыми, как лен волосами, ежом торчащими на голове.

— Как же не обиждал-то?

— Так и не обижал.

— Как же так?

— Да так. Не обижал, вот тебе и сказ. Не обижал, не обижал, не обижал!

Максим вместо ответа низко нагибается, спускает голенищу, долго что-то теребит свои широкие шаровары и наконец, оголивши ногу, показывает синяк.

— А это что? — торжественно произносит он.

— Врешь, это не я!

— Проси у него прощения, — советуем мы

Семену.

— Вот еще!.. Буду я у какого-нибудь кучеришки поганого прощения просить, — держи карман!

— Нешто ты собака, этак-то кусаться? — продолжает свое кучер. — Да и пес, так и тот своего-то не рвет; а ты... гляди-ка, какой манер отыскал!

Семен сконфужен и некоторое время молчит.

— Ну хочешь, я тебе подарю камышовую дудку! — наконец надумывает маленький брат, желая хоть как-нибудь выйти из неловкого положения и задобрить обиженного.

— Не надо мне твоей дудки.

— А она играет...

— Опостылел ты мне и с дудкой-то твоей, — бормочет Максим.

Но Семен непреклонен в своем намерении задобрить кучера игрушкой. Он на некоторое время выходит из комнаты и возвращается уже с дудкой. Ставши против Максима, маленький брат надувает щеки, как заправский музыкант, и начинает наигрывать что-то похожее не то на скрип двух-трех дверей, двига-

ющихся на ржавых петлях, не то на визг собаки, которой прищемили хвост. Сердце Максима мало-помалу смягчается: сначала раздвигаются сурово сомкнутые брови, затем добродушие начинает светиться в глазах, и наконец мужик не может выдержать соблазна и ослабляется.

— О, ну те — заиграл совсем! — с улыбкой удовольствия произнес кучер, махнувший рукой и отворачивая рожу в сторону, точно стыдливая девка.

— Хочешь, я тебя выучу, Максимушка?

— Учитель!.. Станешь учить, еще другую ногу закусишь.

— Ну, полно, полно! — уговариваем мы Максима забыть обиду.

— Да-кась дудку-то!

Максим берет дудку из рук брата и долго не может приспособиться, попеременно извлекая из инструмента то какой-то храп, то звуки, напоминающие трение ножа об аспидную доску. Мы, разумеется, сейчас же начинаем его учить, как и что нужно делать языком и губами; наконец Максим «вникает в дело», как говорит он, и выдувает что-то похожее на

звук. Звук этот несказанно радует музыканта, и он повторяет его по крайней мере добрую сотню раз, до тех пор, пока самому не наскучит дудеть. Максим совсем размягчен.

— Максимушка! так как же змей-то? — пользуясь минутой, спрашиваем мы.

— Да ладьте, ладьте. Я что?.. Во мне не сумевайте.

Мы с радостью набрасываемся на Максима и начинаем его мять и теревить. Такие заигрывания ему, видимо, нравятся, и Максим, как сытый кот, щурит глаза и бережно отводит нас от себя руками, нежно мурлыча: «О, ну вас! О, ну вас, раскошватили всего».

— Так, слушай, ребята, какое мое слово будет! — наигравшись с нами, решительно произносит Максим.

— Ну?! — в один голос откликаемся мы.

— Слушай, что я буду сказывать!

Мы слушаем.

— Перво-наперво следует заворотить нам, братцы, змей настоящий, а не то что как иные-прочие делают. А ладить мы его будем, ребята, утром, как только тятенька с лепортом уедет, и ладить будем — я так полагаю —

на сеновале. Так или нет?

— А что же — и отлично! — хором соглашаемся мы.

— Лист бумаги, — продолжает Максим, — возьмем большой, александровский; а бумагу-то достанем у луковицынского барина, у его этого добра много.

— Да даст ли он?

— Да-аст. Я ему намедни кобеля водил на реку купать, — дюжой такой кобель-то, что твой жеребенок, хоть верхом садись, так, идол, веревку из рук и рвет, — так он, барин-то, мне тогда еще сказал: «Сочтемся», — говорит.

— Ну?

— Ну... тпру! Не запрег, а уж поехал, — острит Максим.

— Ну-у, Максимушка!

— Ну, трухмалу на склейку ноне же оборудуем, драницы опять же от барина возьму — нитки, говорите, есть?

— Есть.

— Значит, ладно!

— А горб сделаем? — подробно допытываемся мы.

— И горб сделаем, и трещотки вяпаем, и бумажных зайцев потом по нитке пущать будем, — вот как!

— А еще что?

— А еще — ничего...

— Раскрасить бы его, змей-то.

— И то... Разе дьявола, что ли, на змею-то нарестовать? — подмигивает Максим.

— Нарисуй, Максимушка!

— А и то нарестовать?.. Настоящего дьявола-то обозначить: с рогами его, окаянного, пропишем, глаза красные, пузо желтое, из пасти язык высунем... хвост тоже — метлой...

Мы только прыгаем от радости, слушая Максимова изображение настоящего дьявола.

Подобные приготовления, или, лучше сказать, даже одни только разговоры о них, совершенно отравляют наше спокойствие. Целый день мы ходим в каком-то волнении, забывая о пище, и только и думаем, что о змее, только и следим всюду, что за одним Максимом: не несет ли он от луковицынского барина бумагу, не варит ли клейстер, не строгают ли драницы и проч. Не менее тревожно проходит и ночь: то, отягченные думами о змее,

ворочаемся мы далеко за полночь с боку на бок и не можем заснуть; а утомленный уснешь, так сны начнут тебе сниться, в которых главным действующим лицом является опять тот же искуситель — змей. Видится нам, что и соседние-то мальчики его перекинули, и оборвался-то он, и не поднимается-то от безветрия, и наконец, что отец-то его увидел, отнял у нас и разорвал его в клочья. С какой-то щемящей болью в сердце не раз просыпаемся мы, трем заспанные глаза, вскакиваем с кроватей, ловим руками неуловимое, спасаем, отбиваем что-то, и разве в конце концов получаем тяжеловесные затрецины от старшего брата, который, пробудившись и слыша наш безалаберный бред, думает этим путем привести нас в сознание.

Наутро мы просыпаемся ни свет ни заря и первый наш вопрос: «Где Максим?» Если мы не находим его в кучерской, то тотчас же спешим в конюшню.

— Максимушка! что же змей-то?

— О, ну вас к богу и с ним-то! Что это такое? Поднялись эвона, когда еще черти в кулачки не бились, сейчас: «Змей!» Дайте лю-

дям хоть зенки продрать; а то «змей!».

Но нам брюзжание Максима ни к чему; мы неотвязчиво вертимся вокруг него и ждем не дождемся той счастливой поры, когда отец уедет с рапортом по начальству. Наконец вожделенный миг настает: Максим выводит лошадь из конюшни в каретник и начинает ее седлать. На всю эту процедуру мы смотрим сквозь щели в тонкой перегородке, отделяющей конюшню от каретника.

— Глядите, подпругу затягивает, — слышится шепот.

— Врешь, стремя отпускает! — перебивает другой детский голос.

— Ан, врешь, подпругу!

— Ну, смотри, смотри! Разве это подпруга?.. А еще споришь, дурак!

— Ну-ка, пусти-ка меня сюда посмотреть.

— Да, как же, так и пустил.

— Хорошо, я тебе это припомню, ежонок проклятый!

Раздается шлепок.

— Ванька! что ты дерешься, когда тебя не трогают, свинью? — вдруг прорезывает тишину громкий возглас.

— Ну, господа, уж вы дождетесь, что папенька услышит.

— А он зачем мою щелку занял?

— Врешь, она не твоя, я сам ее намеренно проколупал.

Но завязавшийся было спор, к счастью, тотчас же и прекращается, потому что мы видим, как Максим берет лошадь под уздцы и выводит ее к крыльцу флигеля. Скоро выходит отец, садится на коня и съезжает со двора, к великой нашей радости. Мы, разумеется, сейчас же впиваемся в Максима и по крутой лестнице лезем с ним на сеновал.

Я не буду рассказывать здесь следовавшую за всеми такими тревожными длинную историю создания змея, историю, в которой, как всякий догадается, мы принимаем самое живейшее участие. Вся эта операция тянется, пожалуй, несколько часов, потому что по нескольку раз приходится размеривать и соображать, то укорачивать, то удлинять, клеить и снова переклеивать, а потом еще разрисовывать, да подвязывать *путьцы* да *перепутьцы*, да натягивать горбы, да устраивать трещотки, — словом, кто клеивал змея, тот пой-

мет, скольких хлопот стоит эта клейка, а кто не клеивал, тому сразу-то и не расскажешь. Ну, да как бы там ни было, но все-таки, долго ли, коротко ли, а змей слаживался. Правда, он всегда почти выходил несколько кривобок и достаточно-таки тяжеловат; правда, нарисованный на нем «настоящий черт» хотя и имел, по соображениям Максима, законные красные глаза, желтое пузо и хвост метлой, тем не меньше черт этот скорее походил на какую-то невинную рыбу, чем на известного врага и хитрого соблазнителя рода христианского, — ну да за этими мелочами мы не гнались: нам был нужен змей, и теперь он был у нас — вот и все!. Высушить склеенный змей — дело нескольких минут; стало быть, теперь весь вопрос в том, как и когда запустить его?

Обыкновенно змей запускался между двумя и шестью часами, то есть в то время, когда отец отдыхал после обеда; лучшим же временем считалось то же послеобеденное время, но только когда отца совсем не было дома; летом же это случалось довольно часто, потому что отец имел обыкновение довольно часто

ездить верхом за город, на арендуемые им сенокосные луга, где и оставался до поздней ночи. Запускался змей прямо на улице, так как во дворе было тесно, и запускал его сам Максим, а мы были только помощниками. Толпы зевак обоих полов и всех состояний и возрастов теснились вокруг нас и сопровождали криками одобрения или насмешками каждое удачное или неудачное восхождение змея кверху. Когда змей поднимался, как следует, и устанавливался, его переводили во двор и конец нитки Максим вручал кому-нибудь из нас (впрочем, в держанье этого конца строго соблюдалась чередовка, так как такое держанье считалось наивысшим удовольствием), причем другие двое в волнении бегали по улице и наблюдали, чтобы змей не был перекинут. Сам же Максим в это время взлезал на крышу дома и оттуда озира́л всю окрестность, тотчас же давая нам знать о покушении, если только такое кто-нибудь замышлял где-нибудь.

— Трег-губихин Антошка перекидывает! — кричал с крыши Максим.

Мы стрелой летели к дому Трегубихи, и ес-

ли ее Антошка не прятался вовремя, то ему приходилось плохо.

Только что мы разделявались с Антошкой и возвращались домой, как снова раздавался тревожный крик дозорного.

— Га-анька кучерявый!..

Открывался новый поход против Ганьки кучерявого, нередко сопровождавшийся такой свалкой, в которой только клочья летели с обеих сторон.

— И что же это за разбойники! — диву давались соседские бабы. — То есть, кажется, с этим своим змеищем поганым сколько они народу перепятнают, так просто видимо-невидимо.

После двух-трех таких малых баталий враги наши на некоторое время смолкают, и змей величественно красуется в высоте. Каждый из нас за это время уже несколько раз наслаждался держаньем конца нитки, и, по-видимому, мир и тишина водворяются кругом, даже сам Максим прикорнул на коньке крыши и озирает окрестность уже не так ревниво, — как вдруг змей, видим мы, начинает *козырять*, опускается, описывает несколько гро-

мадных дуг в воздухе и затем далеко-далеко где-то падает. Максим сначала поражен, но потом, исполненный негодования, не сходит, а буквально скатывается по лестнице с крыши, и тут уж мы все, вчетвером, с яростью бросаемся на поиски. Поиски эти не долги. Проходит несколько лишь минут и — о, ужас! — возвратившись домой, вместо змея мы приносим только одни клочки да обрывки ниток, что означает, что баталия была где-то великая.

— Это разбой! Нет, сударыня, позвольте вам доложить, что это настоящий разбой: они у меня все окна камнями повыбили! — бушует на дзоре чиновник Скороспелов, горячо жестикулируя перед матушкой, стоящей на крыльце флигеля.

— Извините, я без мужа ничего не могу.

— У меня жена беременная, а они камнями в кулак жарят, — разве это по закону? Опять вон — глаз... Ведь я человек подначальный.

Матушка молчит, стороной посматривая на огромный фонарь, красующийся под чиновничьим глазом.

— Я змей перекинул любопытства ради, —

продолжает чиновник, — и вдруг, на-кась, все стекла повывмахать... Нет, вы доложите супругу, как угодно-с?.. Это что же-с?.. А то я прямо к губернатору...

— Я скажу, скажу.

Чиновник раскланивается и уходит.

— Дети! — кличет нас матушка.

Зов ее теряется в пустынной тишине двора.

— Мальчики! — усиленно зовет матушка.

Но мальчиков, разумеется, отыскать не легко: мы запрятались кто куда успел и молча дрожим, выбирая между страхом наказания и страхом надвигающейся черной июльской ночи.

Учить нас начали довольно поздно — поздно для меня, которому было в это время уже далеко за восемь лет. «Ученье не волк, в лес не уйдет», — говаривал, бывало, отец, или: «Что мальчишек-то задарма мучить с этих пор, пускай еще погуляют немножко». Главным же образом позднее ученье зависело просто-напросто от расчета: нанимать учителя для одного считали невыгодным, потому терпеливо ожидали, пока подрастут другие дети. В учителя нам был дан какой-то злополучный приказный, из исключенных семинаристов, жалкий такой, любивший выпить, рябой, некрасивый и, вдобавок ко всему, заика. Учились мы, мальчишки, во флигеле утром в то время, когда отец уезжал по своим делам, так что высшее-то начальство во время ученья представляла собою для нас мать, отягощенная и без того многочисленными заботами и хлопотами по хозяйству и потому не имевшая досуга следить за нашими занятиями. Учебной комнатой служил нам зал, посредине которого на время ученья ставился стол, и

мы присаживались к этому столу таким образом, что лица наши были обращены к окнам, а не к дверям, ведущим в другие комнаты, из которых беспрестанно выскакивали сестры, с гримасами и кривляньями, и, разумеется, мешали нашему ученью. Впрочем, как увидим дальше, все эти предосторожности мало помогли делу. Предметами обучения были: закон божий — по «Начаткам», арифметика — по разуму учителя, грамматика — по тому же разуму, и чистописанье. Класс обыкновенно начинался молитвой.

— Н-н-ну-к-ка! — заикаясь, командовал учитель, указывая на образ.

— Ну-ка, «паки и паки» валяйте! — командовали в свою очередь, высунувшись в дверь, сестры.

Мы вместо молитвы раздражались неудержимым хохотом.

— Ай-я от-таскаю! — грозил нам учитель.

— За что же таскать-то, Иван Петрович, когда девочки нас смешат?

— Б-ба-рышни, я маменьке...

Сестры прятались.

После короткой паузы, лишь только мы

рассаживались по местам и, еще не открывая книг, уже дружно и звонко голосили в три детские горла: «Един бог, во святой троице покланяемый», — как сестры придумывали какую-нибудь новую шутку.

— А вон петух по двору идет, — слышался голос сестер сзади нас.

— Б-барышни!..

Голос смолкал на минуту.

— Смотрите-ка, да он в треугольной шляпе, — опять раздавался голос.

Мы приподнимались с мест.

— С-с-си-д-дите! Б-барышни!..

Снова наступила маленькая пауза.

— «В четвертый — солнце, луну и звезды», — звучали в комнате наши высокие голоса.

— Ну, смотрите, ради бога! Посмотрите хоть вы сами, Иван Петрович: ведь он идет прямо сюда, с саблей на плече, — в ужасе кричали выдумщицы.

Сзади нас при этом раздавался топот, из которого следовало заключить, что сестры как будто намерены ворваться в нашу учебную комнату и смотреть в окна. Чтобы преду-

предить их, мы тотчас же вскакивали с своих мест и, несмотря на все уговоры и угрозы учителя, стремительно бежал к окнам; учитель волей-неволей бросался за нами, чтобы остановить нас и рассадить по местам. Поднималась беготня и свалка: ученики бегали от окна к окну, а разъяренный учитель гонялся за ними; ученики увертывались, а учитель ловил их за уши и пойманного драл без всякого милосердия. Сестры же между тем, пользуясь сумятицей, действительно врывались в классную, но вовсе не затем, чтобы смотреть на петуха с саблей, шествующего по двору, а просто затем, чтобы опрокинуть наши стулья, перевернуть стол и побросать на пол книги и прочие учебные принадлежности; так что когда учитель успевал наконец изловить нас, учеников, и притащить к месту ученья, в комнате господствовал уже полнейший хаос.

— Б-барышни! — хватая себя с отчаянием за голову, восклицал несчастный ментор.

Начиналась разборка и установка.

— С-садитесь! — приказывал нам учитель.

— Нет, мы не сядем: зачем ты дерешься,

кутейницкая морда?

— Й-й-я вас не бил, — теряется наставник.

— Как не бил? Ах ты, блинохват!

— Разумеется, бил, семинаристишка поганый! — вступаются за нас сестры.

— Н-н-нет!

— А это что? Это что? — показываем мы учителю красные уши и хором запеваем, чтобы окончательно насолить ему:

*Кутейники, блинники
Через тридцать могил
Перервали один блин,
С маслом!*

— «С маслом!» — дружно подхватывают сестры.

Ментор выходит из себя, грозит, уговаривает, машет на нас линейкой, но ничто не помогает. Наконец Иван Петрович делает движение к двери, ведущей на кухню.

— Сейчас пойду к мамаше. Вот будь я анафема проклят, если не пожалуюсь!

Маневр оказывается убедительным. Бунт, по-видимому, прекращается, и мы по-прежнему громко начинаем выхныковать по «Начаткам» повествование о сотворении мира.

Но эта тишина лишь минутная, потому что сестры не могут остановиться в своих выдумках и непременно в это время замышляют какую-нибудь новую проказу. И действительно, едва мы успеваем несколько успокоиться, едва с грехом пополам отбарабаниваем «Начатки» и принимаемся за арифметику, как слышим, сестры о чем-то уже шепчутся за дверями. Мы настораживаем уши.

— Нет, мальчикам не нужно говорить: пускай их учатся, — шепчет одна проказница.

— Ах, нет! давайте лучше скажем им. Зачем же их, бедных, обижать? — противоречит ей другая.

Мы отлично знаем, что сестрам вовсе не о чем нам говорить и что все эти шептанья — чистейший вздор, тем не менее бес любопытства начинает нас смертельно мучить.

— Ты говоришь, сама видела? — продолжают сестры.

— Как же, сейчас видела.

— И что же, много?

— Мно-ого!.. Только, если мы пойдем одни, так мальчикам ничего не достанется.

— А я сейчас им скажу.

— Не го-в-вори! — притворно спрашивает другой голос.

— Нет, скажу. Я не такая, как ты: я не могу не сказать, потому что они мне братья.

— Ну, скажешь, так я тебе никогда не дам своих кукол играть.

— А вот, скажу же! Сейчас скажу!

Сестра откашливается, высовывает голову в дверь и торжественно произносит:

— Дети! мальчики! мак принесли, маковники...

Хотя нам положительно известно, что никаких маковников не приносили, однако при словах «мак» и «маковники» мы невольно поднимаемся с своих мест.

— Р-ра-ди б-бога, сидите! — привскочив на стуле и загораживая нам путь руками, заикается злосчастный Иван Петрович.

— Ну, не верите, так мы одни пойдём есть.

— И мы! и мы! — невольно вырывается у нас возглас.

— Девочки, пойдёте!

Сестры ухватываются одна за другую и вереницей пробегают через учебную комнату, направляясь к кухне, где, по их словам, нахо-

дится соблазнительный мак. Напрасно учитель встает с места, напрасно он делает какое-то уморительно-грозное лицо и решительно становятся на дороге, по которой мы можем устремиться за сестрами, — нас уже не удержать. Подобно бурному потоку, ниспровергающему все, попадающееся на пути, пригнув головы книзу, как пули, пущенные из ружья, бросаемся мы к дверям, и грозно-смешной Иван Петрович, делать нечего, уступает и летит следом за нами. Сестры между тем вовсе и не думают бежать на кухню, где, разумеется, нет никакого мака, а ни больше, ни меньше, как обегают кругом и через другие комнаты врываются в классную, где сию же минуту и ставят все вверх ногами.

Из кухни нас приводит назад уже сама матушка.

— Это что? Что это такое? — строго спрашивает она.

— М-а-а-а-к! М-м-а-а-к-ковники! — совершенно не может уже и слова произнести сконфуженный и растерявшийся учитель. Стараясь как можно скорее изложить причины неурядицы, Иван Петрович делает такие

страшные гримасы, точно во рту у него перекачивается от щеки к щеке пылающий уголь.

— Кутья, маменька, все дерется с нами! — разом устремляются на учителя несколько обличающих его пальцев.

Учитель еще больше теряется от таких обличений: он знает, что матушка драки и драчунов терпеть не может.

— П-п-пальц-ц-ем не тр-р-р-рогал! — лепечет он неизвестно что.

— Ну, затрещала трещотка! — высунув голову из двери, вступает в разговор старшая сестра. — Ишь рябая форма, хочет сказать, что пальцем не трогал, да небось бог-то не попускает соврать.

Сначала раздается общий смех, а потом поднимается гвалт. Матушка стоит на пороге в недумении.

— Мне вон ухо оторвал, — жалуется младший брат Семен.

— Заплачь, заплачь! нарочно заплачь! — науськивают его сестры.

Маленький брат повинуется и трет кулаками глаза.

— П-пальцем не трогал! — собравшись с

силами, наконец довольно твердо докладывает маменьке учитель.

— Как же не трогал? Как же не трогал? Ах ты, бесстыжие твои бельмы! — горячо защищает правду сестра и, увлекшись, выдвигается даже на средину комнаты. — Мы сами, маменька...

— Это что?! Женский пол, да в мужские дела вступаться стал, — прочь отсюда! — строго прикрикивает на сестер матушка и даже для большей вразумительности топает ногой.

— А он не ври! — бормочет сестра и нехотя уходит в свою комнату.

— Учиться! Сейчас же учиться! — обращается к нам матушка. — Вот я посмотрю, как вы у меня не будете слушаться? — прибавляет она сурово и становится в дверях.

Мы повинуемся. Так как мы знаем, что маменьке очень нравится, когда мы читаем вслух, то, не дожидаясь приказаний учителя, что нам делать, мы раскрываем «Начатки» и принимаемся голосить во все горло: «Един бог, во святой троице покланяемый». Матушка стоит и слушает. Голоса наши раздаются по классной все звончее и звончее, и, как буд-

то вместе с этим усиленным хором голосов, все добрее и добрее делается лицо матушки: глаза блестят от удовольствия и улыбка, ласковая, ласковая такая, играет на ее губах.

— Иван Петрович, подите-ка сюда! — наслушавшись, выходит матушка из зала и вызывает за собою учителя.

Ну, что дальше будет, мы отлично знаем. Мы знаем, что, вышедши в другую комнату, маменька подойдет к шкафу, отомкнет его, вынет оттуда графин водки и, наливши стакан, поднесет этой самой водки учителю; знаем, как потом, отвечая поклоном на благодарность учителя, матушка как будто мимоходом скажет ему: «Да не пора ли окончить, а то заучились они совсем?» и как Иван Петрович коротко, но с полнейшим удовольствием ответит ей: «Слушаю-с!» — знаем мы все это, и потому, чтобы не ударить лицом в грязь, режем что есть мочи, отчеканивая каждый слог:

— «Но земля была необработанна и пуста...»

— Дети, идите лепешки есть! — высунувшись в дверь, приглашает нас матушка.

Мы быстро вскакиваем с своих мест, сест-

ры вылетают из своей комнаты, и, сцепившись за руки, целая ватага детей начинает кружить по зале, напевая, приплясывая и присвистывая.

— Ну, ну, дурачки, идите же! — повторяет матушка. Ватага сваливает к завтраку.

Таково или почти таково было наше обыкновенное, ежедневное ученье. Разнообразилось оно иногда разве тем только, что, соскучившись терпеливо сносить щелчки и тому подобные обиды от учителя, мы открывали против него поход, в котором не последнюю роль играли и сестры. Поход открывался обыкновенно плевками, но когда раздражение с обеих сторон достигало своего крайнего предела, начинался рукопашный бой. И грустно и смешно делается теперь, когда вспомнишь этого гиганта, оторопелого, растерзанного и притиснутого к стене маленькими воинами: точно Гулливер, связанный храбрыми лилипутами, представляется мне атакованный нами Иван Петрович. Напрасно несчастный учитель стращется, упраскивает и ревет во все горло. «Ва-л-ляй его!» — восклицает воинство лилипутов и, как горохом, осы-

падет ударами. В таких случаях, даже если являлась на сцену матушка, так и ей не скоро удавалось остановить сражающихся, а разборка причин и последствий подобных битв всегда откладывалась до приезда домой отца, к которому с жалобой на нас уже и обращался тогда злополучный Иван Петрович.

Вообще ученье было для нас хуже острого ножа, и мы отбывали его словно какую-нибудь тяжелую поденщину. Неизмеримо приятнее были для нас ученые разговоры с кучером Максимом, по-своему, но зато тихо и охотно дававшим ответы на предлагавшиеся ему вопросы.

— Максим, ты слышал, что земля вертится?

— Как вертится?

— Так и вертится. Вот так! — описывали мы в воздухе круг.

— Вы наскажете... от большого-то ума.

— Нет, это не мы рассказываем, а это нам Иван Петрович сегодня сказал.

— Известно, как он шкалика три в себя запустит, так у него все вокруг завертится.

— Нет, он трезвый это рассказывал.

— Да когда он тверезый-то бывает, вы его спросите...

— Сегодня, сегодня был, — утверждаем мы. Максим только рукой машет.

— Да еще он что говорил: и земля, и звезды — все вертится.

— Ну, про землю вы там, что хотите, болтайте, а про звезды этого не говорите, потому звезды — угодницкие души. Тут с вами из-за этих разговоров такого греха на душу примешь, что опосля у семи попов не спокаешься.

Кучер минуту думал: известие о вертящейся земле, по-видимому, очень его интересовало.

— Вертится! — скептически улыбался Максим. — Вы то сообразите, умные вы головушки, что, вон, кнут какой-нибудь подынешь на улице — грош ему цена — так и то тебя на все шабры огласят; яйцо из-под чужой курицы вынешь, так и за это тебе проходу не дадут; а то стала бы земля вертеться, а люди стали бы молчать: «Вертись, мол, матушка!»

Против такого довода мы ничего не могли возражать.

— Вертится!.. А кто ее вертит? — строго вопрошает кучер.

— Бо-ог.

— Ну, вы, братцы, перекреститесь сперва, — решительно произносит Максим и отворачивается в сторону.

Такое суровое обращение с нами Максима нас несколько коробит, и мы сейчас же придумываем какую-нибудь шпильку, которую и вставляем ему.

— Вот если бы ты учился, как Иван Петрович, так ты бы знал, — замечаем мы Максиму, для которого нет обиды горше, как сравнение с Иваном Петровичем, а не то что даже превознесение Ивана Петровича над ним.

— Учился?! — презрительно восклицает Максим. — Да я, может быть, этого вашего с Иваном Петровичем ученья в сто раз боле вас принял! — горячится он, понимая под ученьем вообще именно то ученье, которое давалось нам, то есть дранье за уши, колотушки и проч. — Учился?! Разве меня этак-то учили? Нет, брат: вожжи, так вожжами, ухват, так ухватом, кнут, так кнутом, — вот как меня-то учили! А то Иван Петрович да Иван Петро-

вич... Скажи, какой ученый! Рванида какая-то, да, право!

— Ну, а если б ты был учитель?

— Так разве этакой был бы...

— А какой же?

— Уж я знаю какой! — многозначительно изрекает кучер.

— Чему же бы ты стал учить?

— Ничему. Я бы сейчас всех мальчишек распустил: гуляй, ребята! довольно вас и без меня мучили.

— Так тебе бы тогда, значит, и учить некого было.

— Как так?

— Да ведь ты бы всех распустил, стало быть никого бы и не осталось.

— А никого, так и плевать! Опять бы в кучера пошел.

Словом, в рассуждениях о своих учительских способностях Максим как-то путался, и все такие рассуждения в конце концов сводились или ни к чему, или они сердили Максима, и он коротко заканчивал такую беседу восклицанием: «Да отлипните вы от меня! Ведь вы хоть кого, так запутаете!»

Кроме ученья наукам, в это же время нас обучали и танцам, на какой предмет был приглашен отпущенный из дворовых комедиантов какого-то помещика некто Лепешкин, известный в С. более под именем «мусье Лепеше». Этот Лепешкин, или Лепеше, учил нас полгода или больше, давал по три урока в неделю, но никаким тайнам хореографического искусства не обучил, а научил только красть водку из родительского шкафа, которую мы обязаны были аккуратно поставлять ему перед каждым классом.

— Ну, что ж, ты, брат мусью, учишь, учишь ты их, ан, кажется, проку-то никакого из твоего ученья не выходит? — долго и терпеливо ожидая танцевального проку, наконец решился заметить мусью Лепеше отец.

— Скоро, ваше благородие, нельзя — эта наука тугая.

— Эх, смотрю, смотрю я да, как водится, возьму да и прогоню тебя!

— Нет, зачем же, ваше благородие, сомневаться: они вдруг пойдут...

— Да где же пойдут? Ходу-то этого я что-то не вижу. — Вы позвольте, ваше благородие...

У генерала Несомненного — раз, у помещика Собакина — два, у помещика Новосбруева — три, еще у генерала... вот фамилию-то забыл, — в четырех местах этак же было: не шли, не шли, да вдруг и махнули!

— Ну, вот посмотрю еще недельку-другую.

— Да уж что тут сомневаться, за первый сорт пойдут.

Отец терпеливо ждал не недельку, не две, а еще полтора, два месяца, но мы не только что не «пошли» в это время «за первый сорт», а решительно-таки не пошли, никак не пошли, почему танцовщику, мусье Лепеше, и было отказано от уроков.

Волга по справедливости может назваться Вколыбелью нашего невеселого детства. С самых ранних лет, как только нетвердые наши ноги выносили нас на двор, как только новичку удавалось проведать про уличные и задние ворота, перелезть через забор к соседям, зашибить камнем соседскую собаку или курицу, а тем больше сцепиться за волосы с каким-нибудь соседским мальчиком и оттрепать этого последнего до горячих слез, — тогда уже новичок переставал быть новичком, но, исполненный отваги, готов был на все, а прежде всего, разумеется, на знакомство с Волгой. Знакомству этому немало способствовало и то обстоятельство, что заманчивая река была всего лишь в нескольких шагах от нашего дома, построенного на улице, самой ближайшей к Волге. Волжская жизнь наша распадалась на два резких периода, на летний и зимний, причем осень и весна относились к летнему периоду. Из этого видно, что летний период прежде всего был длиннее зимнего; но, кроме того, он был и разнообраз-

нее и веселее, потому что тут можно было и купаться, и ловить рыбу, и кататься в лодке, и просто, засучив панталоны выше колен и держа сапоги в руках, идти по воде вдоль берега, примерно версты две-три, для большего удовольствия поднимая и швыряя камни в волны; тогда как зимою на Волге можно было только кататься на салазках, и ничего больше. Да и кроме-то всего этого, летний период уже потому был несказанно лучше, что тут во всякое время можно было стрелой лететь на Волгу, тогда как зимой нередко заворачивали такие морозы, в которые нельзя было высунуть носа даже за порог, на двор, а не то что замышлять какие-нибудь дальние путешествия.

Летний период, по нашему времяисчислению, начинался довольно рано, так приблизительно с конца марта, то есть как раз с той поры, как только весело заиграет на небе весеннее солнце, а на земле побегут ручейки, и то там, то сям покажутся прогалинки — так чуть заметные ленточки земли — хлопотливо закудахтают куры, докапываясь до зерен и червей, и громко задерет горластый петух, —

вот для нас и начало летнего периода! Какое нам дело до того, что порядочные морозы еще по-зимнему знобят и нос и уши, что вся природа еще закована в ледяную кору и что оттаившее сегодня заносится и хоронится под снегом назавтра, — уже одно дыхание весны ключом кипятит нашу кровь и так и тянет, так и тянет на волю, на простор.

— Уж теперь Волга скоро трогаться будет, — дрожа и дуя в кулаки, беседуем мы между собою, прыгая на солнечном пригреве.

— Да уж она, говорят, тронулась, — сообщает кто-нибудь.

— Тронулась... Разве она теперь трогается? — возражал другой, человек более смысленный. — Как Волга-то тронется, так солнышко не здесь будет стоять, а вон там, за колокольней, — показывает смысленный человек пальцем на небо. — Волга-то тронется, — с важностью продолжает рассуждать смысленный, — так снегу на дворе у нас ни капельки не останется, а куры уж вон там рыться будут, у погреба.

— А это скоро?

— Ну, братец, еще не так скоро... Это вот у

нас теперь месяц, так весь этот месяц до конца пройдет, а там будет опять месяц — так уж в том месяце, так в половине уж, пожалуй. Вон оно еще когда! Да вот как! — спохватывается смышленный человек, припоминая самое решительное доказательство. — Вы помните дорогу, что сейчас позади судов идет?

— Какую?

— Вот, дураки, какая? Вот на которой Андрюшка Ломаный еще меня льдиной в спину хватил, а мы его потом отваляли? Еще секли-то нас когда? Ну, да которая рылом-то ко второй части стоит?

— Ну-ну?!

— Ну, так вот, когда эта дорога рыло-то от второй части сперва на ту сторону поворотит, а потом так и за-а-гнется вся, как круглая станет, — так вот тогда и Волга пойдет. А теперь еще, я вон вчера видел, по этой дороге мужики ездят, — значительно подмигнув, заканчивает смышленный.

И, действительно, долго, долго приходится нам ждать, пока «дорога поворотит рыло», а затем «загнется»; не один десяток раз наведем мы справки о Волге у людей знающих, да не

один десяток раз сбегает и сами посмотреть, в каком положении находится дело. Наконец ожидания наши начинают приходить к концу: числам к десятым апреля, слышим, начинают поговаривать, что за столько-то верст от С. Волга тронулась, там-то ее сломало, там-то почернела она и вздулась. Тут уж время считается часами, минутами.

— Волга идет! — вдруг раздается радостное известие.

Мы стремглав бросаемся на берег и видим толпы народа, теснящегося и глазеющего на бушующую реку. Дорога, поворот которой считался одним из несомненных признаков того, что река тронулась, видим мы, действительно мало того что изогнулась, стала поперек и поворотила из одной стороны в другую, но даже изломалась вся, разорвалась на части и клочьями плавает то здесь, то там. Скрипят суда, подпираемые громадными льдинами, трещат и лопаются страшные по толщине канаты и, как легкие гвозди, пляшут в своих гнездах глубоко вогнанные в берег стопудовые якоря. Лед несется с необычайной силой. То, задержанный где-нибудь посреди-

не реки, напирает он и наворачивает целые ледяные горы до тех пор, пока не прорвет подставленную ему плотину и не устремится дальше, по течению; то, словно соскучившись одолевать преграду, бросится он к берегу, на суда и, как легкие щепки, в одну минуту выбросит их на сушу. Повсюду крик и смятение; только и слышны везде, даже уже охрипшие от натуги, голоса: «За-адерживай! отпускай! чаль!» — и проч. и проч.

Долго мы наслаждаемся величественным зрелищем ледохода; разве уже сумерки пригонят домой и оторвут от Волги; но и тут только и разговоров, что об Волге, только и спора горячего, что о ней об одной. А планов сколько, предположений...

— А купаться скоро?

— Теперь уж скоро.

— А ведь, я думаю, некоторые уж и сейчас купаются?

— В холод-то?!

— А что же, что холод-то: я бы попробовал, — выискивается смельчак.

— Ты мели, мели, Емеля! — осаживает смельчака Максим.

— Так что же?

— А то же, что тятенька как услышит, так он тебе шкуру-то от шеи вплоть до пят и спустит.

— Так тихонько надо.

— Да ты-то, известно, тихонько выкупаешься, а лихоманка-то зато, взяв тебя, трепать начнет, вот тогда шкурой и отдувайся!

Смельчак, по-видимому, удовлетворяется такими неотразимыми доводами и смолкает.

Начинаются разговоры более обстоятельного свойства: об уженье рыб, о катанье в лодке и т. п., вытаскиваются на сцену все аппараты ужения, далеко запрятанные на время зимы, идет разборка, поправка, переделка.

— А кто, господа, у меня грузило вот отсюда оторвал?

Оказывается, что никто не отрывал.

— Ну, как хотите, господа, а это подло!

— Ей-богу, не отрывал! Вот не сойти с места! — божится обвиняемый в похищении грузила.

— Известно, ежонок оторвал, — указывает Максим на маленького братишку.

— Что ты врешь, зеленоглазый! — окрыси-

вается ежонок.

— Он, он! Сейчас умереть, он взял! — клятво-венно заверяет кучер. — Я ему еще в те поры говорил: «Сема! зачем Ваняткину штуку берешь?» — а он ухватил, да и марш!

Ежонку за такое похищение сейчас же влетает подзатыльник; ежонок намеревается отплатить тем же, но, к несчастью, промахивается, а ему, тем временем, вlepляется другой.

— Ну, это не дело. Однава еще ударить можно, а зачем же еще-то? — вступается Максим.

— А он не воруй!

Маленький Сеня трет глаза.

— Ну, ну, не три глаза-то. На вот удочку! — задобривает обидчик.

— Да, два раза ударил, а одну удочку даешь...

— А сколько же тебе?

— Третьего, вон, дня всего один раз ударил, да и не так больно, а и то две бабки дал на мировую.

— На, на, жадный! — прибрасывает Иван обиженному еще одну удочку, и мировая слаживается, благо купить ее было не слишком

дорого.

Впрочем, эта маленькая размолвка не кладет ровно никакой тени на наши дружественные отношения, что видно из того, что через минуту недавние враги, Ваня и Сеня, уже ладят вместе новую удочку и обдумывают, когда и каким манером проникнуть в соседний сад, чтобы вырезать там хорошее удилице.

— У них много, мно-ого теперь вишневых деревьев привезли садить, — вот намахать бы удилиц.

— Да ведь коротенькие?

— Какое коротенькие: вон, выше Максима.

— А ты видел?

— Еще бы не видел, я уж два раза к ним лазил через забор, все искал, нет ли на деревьях клею.

— Нет, знаете, братцы, где я удилице-то видел?

— Где?

— Вот так удилице!

— Да где?

— В церкви, вот где!

Все смеются.

— Вы не смейтесь, ей-богу, видел! Это, зна-

ете, у сторожа-то длинная палочка, еще на конце-то которой восковая свечка... вот которой он паникадила зажигает, вот бы на удилице-то подтибрить?

— А где ее найдешь?

— Так поискать надо.

— А он те, сторож-то, этой палкой да вдоль спины, — вставляет Максим. — Уж чего, кажется, легче: перелез к соседям, наломал вишеннику — и конец делу, так нет, пойдём в церковь да отыщем сторожеву палку... Ай же, и умны вы, как посмотрю я на вас, ребята!

Несколько дней идут подобные разговоры и приготовления, несколько дней бродим на Волгу и только любуемся ходом льда, да разве пошвыриваем каменья, состязуясь в дальности их полета. Наконец, к удовольствию нашему, лед начинает редеть, кое-где показываются лодки, на которых отважные пловцы, пробираясь между разредевшими льдинами и с риском быть задержанными ими, ловят разметанные ледоходом дрова, бревна, осколки разбитых судов и проч. То лед сплывает далеко вниз и образуется громадная полынья, вдоль и поперек которой сейчас же заснут

лодки, гоняясь за добычей; то вдруг прорвет где-нибудь вверху и целыми площадями устремится ледяная сила по течению, грозя неминуемым разрушением всему, что только осмелится стать ей на пути. Боже! какой переполох пойдет тогда между смелыми пловцами! Одни бросаются вниз, по течению, другие стрелой летят прямо, наперевал, надеясь достигнуть берега раньше, чем льдина пересечет их путь, третьи взбираются на самую льдину и, с опасностью провалиться, бегут по ее краю, таща за собою свой челнок, в который тотчас же и садятся, как только успеют выбраться на безопасное место. С берега всякий такой отважный маневр приветствуется аплодисментами и громкими возгласами «ура!», далеко-далеко прокатывающимися по беспредельной поволжской и заволжской шири.

В первый же день, как только отец отлучится из дома на достаточно продолжительное время, мы вооружаемся удочками и спешим на реку. Сначала, одолеваемые нетерпением поскорее забросить уду, мы забрасываем ее где придется и, разумеется, совершенно

бесполезно; но потом, когда первый пыл пройдет, делаемся строже в выборе и отыскиваем заправское место, где уж тогда начинается ловля серьезная.

— Гляди, гляди! клюет!

— Что же ты орешь-то?

— П-п-одсекай! — раздается нетерпеливое шипенье.

— Вот как я тебя удилицем вытяну, так ты будешь меня учить, дурацкая твоя морда!

— Сам дурацкая морда: у него клюет, а он ворон ловит.

— Не у тебя клюет, так и молчи, осел! — вытаскивая из воды удочку с объединенной наживою, щетинится прозевавший рыбу.

— Нет, шалишь! Не сига́й, не сига́й, не сорвешься! — с непритворным восторгом кричит наконец счастливец, вытащивший первую рыбу.

— М-миленький, покажи! — разом бросаются к нему братья.

— Ершонок! — причмокнув, показывает рыбку счастливец.

— Голубчик, какой крохотный!

— Да-ай, поддержать! Да-ай, Христа ради!

Ну, хоть один разочек.

— Как же, так и дам мучить...

— Ну, поднеси хоть поближе посмотреть.

— Вот, смотрите. Да нечего руку-то протягивать — смотри глазами.

И долго-долго идет рассматривание злополучного ершонка, точно какого-нибудь невиданного дива. С подобным восторгом разве только одни чиновники встречают первый чин, несмотря на то что он не больше, как коллежский регистратор.

Если нам удастся на первый раз изловить нескольких таких рыбешек, мы являемся домой исполненные необычайной гордости и сознания собственного достоинства. Улов несется прямо в кухню и выкладывается на стол.

— Ну-ка, смотри, Домна! — важно командуем мы кухарке.

Но тут нам сейчас же готовится удар.

— Матушки! Иде вы таких горьких понабрали? — простодушно удивляется кухарка. — Мотри, снулых иде-нибудь нашли. Ды, право!

— Молчи, дура, когда ничего не понима-

ешь!

— Да как же, господчики, молчать, когда вы у меня стол ими теперь опоганили?

Обиднее таких глупых слов, разумеется, и быть ничего не может. Мы уже сучим кулаки и готовимся вступить с дерзкой бабой в рукопашный, как вдруг в кухню является матушка, а за ней тянется целая вереница сестер. Восторг счастливого улова снова наполняет наши сердца, и мы бросаемся навстречу к матушке.

— Мамочка! миленькая!..

— Пойдите, пойдите! — отстраняет нас рукой матушка.

— Вы посмотрите...

— Да я и то смотрю, — перебивает нас матушка, и действительно, смотрит, только не на рыбу, а на нас.

Мы смущены.

— Вы где были?

— Мы рыбу ловили.

— Да разве так рыбу-то ловят?

— Батюшки вы мои! — хором восклицают сестры.

— Вы посмотрите на себя, — советует нам

матушка.

Мы смотрим и тут только замечаем, что мы по пояс выпачкались в грязи; в смущении бросаем мы взгляд на свои руки и тотчас же прячем их куда-нибудь подальше, потому что руки эти чернее, кажется, голенища.

— Да где вы были, вы мне скажите? — допытывается матушка.

— Мы рыбу ловили.

— Так разве я не знаю, как рыбу-то ловят?

— Мы на самом хорошем месте были... на рыбном.

— Какое же это такое рыбное место? Вы просто где-нибудь в болоте валялись.

— Нет, вы, мамочка, на Мишу-то, на Мишу посмотрите! — указывают сестры. — А Ваня-то, Ваня-то! А ежонка, того так даже и не видно совсем: весь в тине вымазался, и с ушами.

Тут наш счастливый улов, видим мы, так прахом и пошел...

— Что это, дети? Вы совсем страх забыли, — увещевает нас матушка. — Отец вот-вот придет, а вы, как чушки какие-нибудь, все в грязи вывалялись.

О, человеческое жестокосердие! Стоит ли дальше рассказывать? Стоит ли рассказывать, что чудесную ловитву нашу без дальних рассуждений выбрасывают в помои. (Это еще счастье, если мы успеем утянуть из нее хотя по рыбине и запрятать в наши карманы.) Что с искусных рыбаков снимают все, белье и платье, и заменяют свежим. Что мучительная тоска наполняет наши гонимые и страждущие души и что Домна ножом отскабливает слои насевшую грязь с наших сапог. Что, наконец, мы сидим босые в кухне и, в ожидании вычищенных сапог, волей-неволей должны выслушивать брюзжанье глупой кухарки, пользующейся нашим незавидным положением.

— Я бы этих рыбаков да хворостиной хорошей.

— А тебя... дура!

— Ну, меня-то еще было бы за что? — возражает Домна. — Нет, мать у вас баловница... Ох, если бы да на мой характер! Так бы, кажется, зажала голову между ног, да и добре бы насыпала! Помни!

Однако спешу заметить, что не всегда на-

ши рыбные ловли кончались столь печально (иногда, впрочем, они оканчивались и печальнее, именно, когда с уловленной рыбой мы попадали на отца), но случилось и так, что добытых нами из воды рыбенок Домна, хотя нехотя, скоблила ножом, делая вид, что чистит, потом чуточку потрошила и затем тыкала на противень, под бок к какому-нибудь гуся или к куску мяса, и сажала в печь, где наша «охота» гнулась в какие-то крючки от жары и высыхала что твой добрый солдатский сухарь. Создатель мой! что это за вкусное было жаркое! Нет, нынче уж не умеют готовить таких гастрономических блюд!

IV

Купанье было одним из лучших удовольствий летнего периода и начиналось скорее, нежели после схода льда, почти тотчас же за первой ловитвой рыбы. Первые ванны, как очень ранние, были немножко холодноваты, и мы выскакивали из воды синие, словно утопленники, и долго после не могли свести зубов и тряслись, как в злейшей лихорадке; но зато впоследствии купанье делалось, особенно жарким летом, чуть ли не главным времяпрепровождением. Так, например, на практике было доказано, что в хороший летний день, то есть когда воздух раскален приблизительно градусов до тридцати пяти и солнце, словно подернутое какой-то дымкой, тусклое такое стоит в вышине, — в подобный удачный день можно было выкупаться так разиков двадцать — двадцать пять, а то так и все тридцать. Купанье частью зависело от хорошего места, — а если таких мест набиралось десятков, то от всех десяти хороших мест, — частью от товарищества, — а если таких товариществ попадалось пятнадцать, то

от всех пятнадцати товариществ, — частью от времени, — а иногда такого времени было, с небольшими, впрочем, перерывами, ровно полсутки; и вот, совокупность-то всех этих разнообразных условий и приводила к указанному выше счастливому результату, выражавшемуся числом 30. Бывало, например, так, что, спустившись на хорошее купальное место как раз против нашего дома, купальщички, выкупавшись здесь, не одеваясь, перебежали на другое место, отсюда, также для большей быстроты неся одежду под мышкой, перекочевывали на третье, с третьего тем же порядком на четвертое, с четвертого на пятое и т. д. и т. д. Так что когда наступала пора бросить купаться, то есть когда при тридцатиградусном жаре начинали коченеть члены от холода, купальщички озирали местность, в которой они находились, и к удивлению и восторгу своему видели, что они прошли нагие так версты две-три.

— Вот так махнули! — восклицает, дрожа, кто-нибудь.

— Что же за «махнули»? Я намерен так еще дальше, вон туда к заводу, этак же

ушел, — и счастливец тычет пальцем по направлению к заводу, отстоящему так версты на две еще.

— А ведь это мы все нагишом.

— Так нешто из-за таких-то пустяков одеваться? Что мы за дураки.

— Эх, братцы, сколько хороших-то местов развелось!

— Местов — страсть: закупаться можно!

— А вам дома-то ничего за это не бывает? — спрашивают нас товарищи.

— Нет, если папенька, так высечет, а маменька, так ничего, — равнодушно отвечаем мы.

— Ну, господа, как хотите, а без отца лучше жить, — сообщает товариществу Паша Трубкин, бойкий, черноглазый карапуз, певец и первый по околотку буйн.

— Еще бы! — прежде всех соглашаемся мы.

— Мать-то когда еще соберется палку взять, а я уж, мах, да и за ворота! — поясняет Паша, почему без отца лучше. — Ну, а от отца так-то не убежишь!

— Ишь ты сравнил: этот прытче...

Раз, я помню, во время купанья со мною

случилась презабавная история. Нужно заметить, что нередко мы отправлялись купаться с Максимом или, лучше сказать, не с Максимом, а с лошадьми, потому что кучер ходил на реку не для собственного прохлаждения, а водил туда лошадей купать. Так как я был побольше других братьев, то кучер предложил мне искупать одну из лошадей, для чего посадил меня на нее верхом, дал в руку поводья и затем вогнал лошадь в воду; сам же Максим сел на другую лошадь и тоже направился в воду. Не помню теперь хорошенько, что было причиной, но только лошадь моя вдруг задурилась, сделала несколько прыжков, рванулась из воды и, выбравшись на берег, стрелой помчала меня к родительскому крову. Напрасно я натягивал поводья, кричал и молил о помощи, — ничто не помогало: упорный конь фыркал лишь и несся, куда ему хотелось, да еще, как нарочно, не через заднюю калитку, а через главные, передние ворота, показывая меня удивленным гражданам в двенадцать часов дня в костюме праотца Адама. В таком виде конь представил меня прямо на родительский двор и устремился к конюшне, но, к

счастью моему, умерил свой бег пред низкими дверями конюшни и тем дал мне возможность одуматься и свалиться через круп этого злодея-коня на навозную кучу, наваленную обок с дверями. Едва я успел опомниться и, гонимый стыдом и страхом, запрятался в ближайший сарай, как вижу, за мной следом, в таком же костюме, влетает на двор кучер Максим, бросившийся догонять и спасать меня; несколько минут спустя, тоже голые, прибегают домой братья и приносят с собою одежду, которую, к счастью, догадались захватить. Все мы сбиваемся в сарай и начинаем одеваться; у ворот же и во дворе уже теснятся целые толпы любопытных. Как кажется, истинная причина этого события для публики так и не разъяснилась, и мы долго были предметом разных кривых толков и рассуждений.

— Ну, уж *братья-разбойники!* Отличились! — толковали соседские кумушки, обвариваясь жгучим чаем.

— И не говорите лучше...

— По берегу-то ходили-ходили нагишом, а теперь уж по улице на лошадях стали в эта-

ком же виде закатывать. Тьфу!

— На выгонки, слышь, скакали-то: Мишка-то, говорят, об заклад с кучером бился... на парей то есть.

— Ска-ажите?!

— Да уж что и толковать: совсем отъемные головы!

— И махонькие и те туда же: хоть на своих на двоих, а в этаком же виде за ними бегут.

— От родителей всё: он-то не доглядывает, а она — баловница. Ежели бы да на хороших на родителей, так взял его, озорника, да тут же, где он бежит, тут же и разложил бы, да на публике-то и тово... «Смотрите, мол, добрые люди, чтобы на меня никакого сомнения не было», — да и порядочно-таки прихворостинил бы и того, и другого, и третьего. А то, разве это порядки: утром бы, примерно, они эту самую езду состряпали, а вечером, слышим-послышим, уж бурлаку-татарину на реке камнем голову проломил.

— Проломили?!

— До крови проломил. Он, слышь, шутя там сапожишки, что ли, у кого-то из них взял, — так вот за это.

— Так... уж я и то своим-то все наказываю: ежели из вас кто слово, — запорю!

— Жаловался татарин-то?

— Жаловался.

— Драли?

— Драли, — холодно отвечает кумушка. — Да разве уж поможешь?

— Набалованы...

— Страсть как набалованы, — страсть!

Огромное удовольствие всегда доставляло нам катанье на лодке, разумеется, главным образом потому, что у нас не было своей лодки, и доставать ее у кого-нибудь приходилось с большими хлопотами и затруднениями. Эти-то затруднения и хлопоты в значительной степени и увеличивали размеры удовольствия, потому что, как известно, то именно дорого, что трудно достается. Лодку мы или выпрашивали у кого-нибудь из знакомых, или брали напрокат, для какого проката целую зиму прикладывали грош к грошу в нашу общую казну. Но бывало и так, что, пользуясь, например, сумерками или ранней утренней порой, мы просто-напросто отвязывали чью ни попало лодку и разгуливали на

ней по широкому лону вод. (Лодки на Волге, вообще, стереглись довольно плохо.) Надо сказать правду, что иногда такие легкомысленные уводы чужих лодок сходили нам с рук, но нередко за подобные самовольства нам порядочно-таки доставалось от хозяев лодок. Ну, да мы за тычками не гнались: сладость полученного удовольствия скоро заставляла забывать всю горечь расплаты за это удовольствие. Но однажды, помню, мы дорого поплатились за нашу смелость. Было это так...

Как теперь помню, как раз во всенощную, то есть ровно в шесть часов вечера, отвязали мы чью-то лодку и недолго думая направились по теченью. И на воде и в воздухе было совершенно тихо, солнце блистало полным блеском, и лишь какие-то совершенно незначительные тучки ползали то там, то сям по небу. Вода быстро несла нас вниз. Болтая и напевая песенки, посвистывая и отпуская разные прибаутки, мы и не заметили, что забрались уже довольно далеко, а, главное, не заметили, что солнце спряталось в тучи, начал подувать довольно резкий ветер, и река

почернела, надулась и вот-вот готова закипеть волнами. Вдруг рванул ветер и разом поставил нашу лодку поперек реки. Мы дружно ударили в весла; но было уже поздно. Еще мгновенье, и налетевший шквал бросил нашу лодку, как легкую щепку, на гребень волны, затем лодку подхватила другая волна, за этой третья и т. д. и т. д., - словом, волны совершенно овладели нами и, пенясь, клокотали вокруг, грозя опрокинуть лодку и поглотить всех нас. Река ревела и бушевала, как разъяренный зверь. Свистал ветер, с рокотом сшибались волны, целые тучи брызг носились в воздухе и обильным дождем опускались на воду. Страх охватил нас. Побросавши весла, мы сбились в кучу посредине лодки и словно закаменели. Еще и теперь помню я исполненные ужаса лица братьев, с широко раскрытыми ртами и остолбенелыми глазами. Не знаю, как у других, но у меня близость чего-то рокового, как только я сознал всю неотразимость этой близости, сейчас же загля в голове мысль о нашей доброй, кроткой матери: несказанно мне стало ее жаль в эту минуту! Маленькая, худенькая, слабая, с гла-

зами, полными слез, прощающая и благословляющая, встала она предо мной. Я сам готов был зарыдать — нет слез; хочу сказать что-то — скован язык; хочу поймать и поцеловать руку матери — руки мои отказываются меня слушать. А голова все продолжает работать и подсказывает мне мои вины, совершенные против этой редкой женщины. Я делаю последнее, страшное напряжение, чтобы заговорить, заплакать, словом, каким бы ни было путем выразить свое полнейшее раскаяние, — как вдруг лодка совершает какой-то невероятный скачок вверх, потом на секунду с бортами врезывается в волны и затем быстро выбегает на берег. Мы спасены!

— Что, щенята, набрались страху! — вытаскивая нас из лодки, грубо ворчат какие-то неизвестные люди, по-видимому, бурлаки.

Мы опускаемся на землю и громко, истерически рыдаем в три звонких голоса.

— Лекше бы вы потопли, кажется! — хватая нас за руки, с неприятворной горечью бормочет точно из земли выросший Максим и ведет домой, строго следуя приказу отца, «отыскать и доставить немедленно».

Максим знает, почему он желает нам смерти.

.....

Зимняя Волга была уже гораздо менее разнообразна и любопытна. Начиналась эта наша Волга так с конца октября или, вернее, с первых чисел ноября, то есть именно с тех пор, когда суда уйдут на зимние стоянки и мороз примется заковывать Волгу в ледяной покров, затягивая тонкой корой воду сначала у берегов, а потом подвигаясь все дальше и дальше. Скользить на ногах по этому тонкому льду и пробивать его каблуком до воды, разумеется, было очень приятно; но ведь долго ли наскользишь и много ли напробиваешь, когда мороз хватает за ноги и делает их словно какими-то деревянными? Конечно, не много. Потому настоящая-то наша Волга начиналась даже еще позже, именно — с настоящей зимой, когда выпадает вдоволь снегу и лед на реке станет такой, по которому уже свободно пойдет переправа с одного берега на другой, и, что всего важнее, когда нам выдадут шер-

стяные чулки, с строгим наказом отнюдь не промачивать сапог, — вот тогда начиналось настоящее дело, вот тогда приходила настоящая наша зимняя Волга! Если вы, читатель мой, не катывались на салазках с горы сажен в пятьдесят вышиною, по наклонной плоскости длиною в полверсты или даже больше, если ваше сердце не замирало от какого-то сладостного томления, когда вы с быстротой хорошей скаковой лошади неслись по этому наклону, если ужас не охватывал вашу душу, когда раскатившиеся санки стрелкой пере-скакивали через зловецкие полыньи и проруби, и если вы не выскакивали, как резиновый мяч, из этих самых санок, с разбегу ударившихся о какую-нибудь преграду, — вы едва ли поймете всю прелесть заправской детской зимы! Что за дело, что можно отморозить уши или нос, — уши не отвалятся, то же будет и с носом! Но вы сумеете-ка пролететь от вершины горы до ее подошвы, не забывая, что гора эта служит подъемом с Волги и что по ней беспрестанно тянутся десятки подвод и сотни разного народа, сумеете направить между всеми этими препятствиями или по крайней

мере попасть под лошадь и вывернуться из беды, сбить кого-нибудь с ног и удрать вовремя, — вот в чем настоящая прелесть, вот где истинная задача каждого маленького рыцаря! Не скажу, чтобы особенно блестяще, но, надеюсь, достаточно добросовестно исполняли мы эту нелегкую задачу, подтверждением чего могли бы служить наши постоянно лупившиеся от зноба уши и носы да целый ворох всевозможных жалоб, поступавших на нас от разных врагов наших...

— Ну, дети, мы отправляемся с папашей в гости, так вы уж, смотрите, ведите себя хорошенько.

— Слушаем, маменька.

— Мальчики, не смейте обижать девочек, и вы, девочки, тоже...

— Нет, не будем, маменька.

— Да няни слушайте.

— Хорошо-с, маменька.

— Савельевна! — обращается маменька к няньке, — ты уж присмотри за ними. А если покушать захотят, так вели Домне подать — она там знает что. А если спать кому...

— Нет! нет! нет! — восклицаем мы хором. — Мы ни за что спать не ляжем: мы будем вас дожидаться.

— Да ведь мы в двенадцать часов вернемся. Глупенькие!..

— Нет! нет! нет! — повторяет хор, — мы будем дожидаться.

— Ну, хорошо; только — не шалить!

— Не будем, не будем.

— Ну, прощайте!

Матушка перецеловывает всех нас и идет к двери.

— Да Домну позовите из кухни — пусть она с вами играет! — оборачивается на пороге матушка и затем уходит.

Таковыми наставлениями обыкновенно сопровождалось отбытие родителей из дома, причем наставления делались в возможно строгом тоне, а принимались с покорностью и лицемерными уверениями в намерении им следовать. Но лишь только грохот отъезжающего экипажа возвещал, что родители за воротами, маленькая республика вступала в свои права. Прежде всего открывался поход на Домну.

— Что же, господа? Домне велели играть с нами, а она на кухне сидит.

— Идемте, господа, за ней.

— За Домной! за Домной! — раздаются голоса.

— Мы, мы, вперед мы! — бросаются к дверям сестры.

— Нет, мы!

— Не пускать, не пускать мальчиков: они здесь гости.

— Как, гости?!

— Так и гости — мы хозяйки!

— Валяй этих хозяек, ребята! — командуем мы и бросаемся в схватку.

Схватка начинается жаркая; крики сражающихся мешаются с воплями раненых и увещаниями няньки и наполняют комнату. Дверь переходит из рук в руки, и первенство над ней долго колеблется между сторонами, до тех пор, пока Домна не догадается вылезть из своей кухни и не появится на поле битвы.

— О, ну вас к лешаку! Ишь разодрались, петушьё! — бросается между сражающимися кухарка и разводит бойцов.

— Что, взяли! Что, взяли! — дразнят нас сестры.

— А все-таки не пустили первых.

— И мы вас не пустили.

— А мы вас зато за волосы отодрали.

— А мы вас за уши. Что?..

— Вы космы-то подберите, — ворчит на сестер Домна. — Гляди-ка, как раскошлатились, бесстыдницы, ровно русалки какие! А еще барышни прозываетесь!

— Домнушка, давай с нами играть, — при-

глашают сестры кухарку.

— Нет, Домаша, с нами, с нами!

— Нет, с нами. Мы тебе сейчас кукол принесем, а ты будешь как будто барыня и придешь к этим куклам в гости, а они угощать тебя будут. Хорошо, Домнушка?

— Ну, ладно, ладно!

Сестры бегут за куклами, а мы тем временем усаживаем Домну около себя, держим ее крепко за руки и начинаем какой-нибудь разговор, так, больше для видимости, чтобы только показать, что она занята с нами.

— Ну, что же это такое? — с огорчением бормочут возвратившиеся сестры, — мы Домну было себе взяли, а тут мальчишки проклятые отбили.

— Что? Что?! — радуемся мы, мальчики.

Стороны обмениваются плевками, и сестры, делать нечего, присаживаются к няньке.

— Няня! хочешь в гости к куклам придти?

Няня, у которой под старость, словно в награду за ее долгую жизнь, осталось только два недуга: глухота и слепота, не слышит и молчит.

— В гости, в гости приходите! — кричат ей на ухо сестры.

— Какие, барышни, теперь гости: теперь добрые люди спать ложатся.

— Ах, какая она противная, эта глухая те-теря! — сердятся девочки. — Вот к куклам, к куклам! — тыкая пальцами в кукол, еще громче кричат они.

— И куклы, матушки, пойдут спать, — заговоривши о сне, все на ту же тему бормочет Савельевна. — Братцы лягут, вы ляжете, мы с Домной ляжемся, — все бай-бай будем! — протяжно, себе под нос, изъясняет старушка и, увлекшись, даже уже заранее зажмуривает глаза и уныло запеваает:

*Баю-баю, солдатский сын,
Войной повитая головушка,
С острой сабли вскормленная,
Из пригоршней вспоенная,
Жгучей лозой взбодренная! — и
т. д.*

Но едва только наша нянька начинает распеваться и подробно излагать горькую долю солдатского сына, то есть кантониста, едва она доходит до того места песни, где расска-

зывается, как «жгучей лозой взбодренный» солдатский сын «ронит из глаз слезиночку», — как сестры зажимают певунье рот, и песня прекращается.

— Ну, что это заныла с которых пор! — с досадой обрушиваются на старуху девочки.

Старуха покоряется и умолкает. Сестры видят, что с этим олицетворением глухоты и слепоты ровно ничего не поделаешь, и обращаются к нам, но на этот раз уже вполне дружелюбно.

— Мальчики, отдайте нам Домну, — упрашивают нас сестры, — ведь она вам ни на что не нужна, а с нами бы она играла в куклы.

— Как же, так и отдали...

Мы еще крепче вцепляемся в кухарку.

— Да ведь вон она так же молчит, не играет с вами.

— Теперь она отдыхает, — толкуем мы о Домне, точно о какой-нибудь корове или лошади, — а зато перед этим рассказывала нам про колдуна.

— Это, как бабе колдун собачью морду вместо лица наколдовал?

— Да-а...

— О, это мы давно знаем!

— А потом еще расскажет что-нибудь. Нет, она нам самим нужна.

— Ну, слушайте, мальчики! — решительно обращаются к нам сестры. — Если не хотите так отдать, так продайте нам ее.

— Нет, не продадим.

— А мы бы вам орехов за это дали. И орехов бы дали, и вот еще няньку в придачу: она песни хорошо поет, сказки отлично рассказывает, — обольщают нас сестры.

Но мы ни на какие обольщения не поддаемся и упорно удерживаем Домну за собою до тех пор, пока баба не уразумеет сама, что ею распоряжаются точно вещью какой-нибудь.

— Что это я вам, крепостная, что ли, какая далась? — вламывается она в амбицию.

— Ну, Домнушка!..

— Ишь волю-то взяли! На-ка, какие торговцы объявились!

Домна с сердцем вырывается от нас и садится прямо на пол, вдали и от покупателей и от продавцов. Минуту она сидит молча, отвернувшись от нас, потом откашливается, подпирает ладонью щеку и тонко-тонко,

пронзительно затягивает:

*Что за мальчик, разудальчик,
Что за душенька, шельма, хорош:
Вложил мысли в мое сердце —
Не могу вовек забыть!*

Мы начинаем приставать к ее песне, затягивая, кто в лес, кто по дрова; голоса наши будят прикорнувшую было няньку, и она некоторое время вслушивается, а затем и сама присоединяется к певцам, — и скоро комната наполняется самыми разнообразными звуками, то сливающимися в общий рев, то словно разбегающимися в разные стороны, как испуганные зайцы, почуявшие близость своих врагов, собак. По окончании пения, то есть после того как все мы накричимся до сипоты, а Домна объявит, что она «инда взопрела, горло драмши», следует игрище, известное под именем «жированья» и состоящее ни больше, ни меньше, как в том, что мы набрасываемся на Домну, вытягиваем ее на полу во весь рост и потом начинаем перекачивать из одного конца комнаты в другой. Гвалт при этом идет ужаснейший, потому что Домна баба ражая, и, чтобы своротить ее с места, нужно поря-

дочно-таки повозиться с нею. Сначала Домна принимает это «жированье» шутя, потом просит нас отвязаться от нее, наконец, видя, что ни шутки, ни просьбы не помогают, озлобляется и принимается нас тузить со всем азартом расsvирепевшей глупой бабы. Хотя наши бока и спины достаточно-таки страдают от тяжеловесных кулаков кухарки, но мы не скоро уступаем, и начавшееся игрой «жированье» оканчивается уже вовсе не шуточно. Картина этого конца, сколько можно припомнить, бывала такая: в одном углу комнаты, растрепанная и растерзанная, стоит Домна и горько рыдает, в другом, сбившись в кучу и перемешавшись мальчики с девочками, толпимся все мы; на полу валяются опрокинутые стулья, разбитая посуда и клочки разных рукавов, воротников, платков и проч.; нянька, как потерянная, торопливо топчется среди погрома и со страхом приговаривает: «Ай, батюшки вы мои! Ай, батюшки, беда какая стряслась!»

— Да я этаким жизни отродясь не привидывала! — горячими слезами обливается Домна в углу. — Кажется, в аду, вот которых

грешников нечистые горячими кочергами жарят, так и там легче, ничем с такими идолами, прости господи!

Мы поджали хвосты и молчим.

— У других, у прочих, — продолжает причитывать кухарка, — ежели мальчишки озорничье, так хоть девки поумнее да посмирнее, а у нас и мальчишки и девки — один черт на дьяволе!

Домна принимается осматривать свой костюм.

— Фартук вон совсем новенький, всего только одна дырочка и была, намедни об уголь прожгла, ситец-то по восемнадцать копеек за аршин брат, — а теперь куда его — бросить! А бу-усы! — снова рекой заливается кухарка, — они мне от тятеньки, может, вместо благословения дадены, тут, может, одних наказов сколько было, — а теперь где он-ни-и?..

И Домна начинает лазать по полу и собирать зерна бус.

— Ну уж, — приподнимаясь, ударяет она кулаком по столу, — если я да не разжалоблюсь отцу, — вот расстрели меня пострел!

Дай мне вот, господи, с места не сойти, если да не разжалоблюсь! — решительно произносит Домна и быстро, точно ураган, вылетает из комнаты, крепко хлопнув дверь.

— «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» — крестясь, шепчет нянька.

На нас нападает уныние.

— А ведь она пожалуется? — решается наконец предложить вопрос кто-то из сестер.

— Вы спать ложитесь, что тут толковать.

— Ну, а вы как, мальчики?

— А мы дождемся, когда наши приедут, поскорее простимся с ними, да и мах к себе!

— А если спросят: как себя вели?

— Так что же, мы скажем, что хорошо. Разве не сумеем сказать?

— Ну, а если она после вас пожалуется?

— Так разве ночью искать будут?

— Вот и отлично! — радостно заключает старшая сестра. — Стало быть, если даже она и пожалуется без вас, так мы все на вас свалим, скажем, что это мальчики.

— Да, ишь ты какая ловкая! Это, чтобы он к нам пришел...

— Так как же?

— Просто притворитесь, что вы спите, — вот и конец.

На этом все рассуждения и поворачиваются: сестры ложатся спать, а мы сидим точно на иголках и ждем возвращения родителей. Тишина стоит в комнате такая, что, кажется, слышно, как муха пролетит. Кто бы мог подумать, что в этой именно комнате сидят и бодрствуют три страшных и известных всему околотку брата-разбойника? Да, в эти минуты я бы никому не пожелал быть на нашем месте!

Однако, по большей части, все страхи оказывались напрасными, потому что родители возвращались из гостей усталыми и тотчас же отсылали нас, мальчиков, к себе спать, даже и не спрашивая о том, хорошо или дурно вели мы себя. Даже бывало и так, что пока родители раздевались в прихожей и мы не только что не успели доложить о своем хорошем поведении, но даже не видели еще их, как Домна, принимая верхнее платье, слышим, уже жалуется:

— А они у мене, барин, бусы разорвали...
А отец, слышим, ей на это:

— Ну, ну, матушка, завтра с твоими бусами: на это день есть, а теперь пора спать. Завтра всех разберу, — прибавляет он и входит в комнату. — Марш по местам! — командует отец нам.

Мы как пули просвистываем мимо.

А на следующий день, смотришь, Домна успокоилась, а отец — тот и совсем позабыл, — так что вот как широко вздохнешь... кажется, чуть не до разрыва легких! Большая бывает радость тогда!

VI

Как-то раз в жаркий летний полдень, только что окончивши докучное ученье, лежали мы на тощей траве в нашем маленьком саду, под незавидной тенью старого вяза, и беззаботно смотрели в небо, подумывая разве о том, что не дурно было бы теперь сбегать выкупаться, — как услышали голос матери, звавшей нас с крыльца флигеля. Вскочивши, мы тут в минуту поспешили на зов. Матушка стояла на крыльце и кормила кур.

— Где вы запропалились? — спросила она нас.

— А мы в саду лежали.

— У вас есть какое-нибудь дело?

— Н-нет... мы купаться было хотели попроситься, — нерешительно проговорили мы.

— Ну, вот, всё купаться да купаться — не накупались еще. Вы вот лучше пошли бы да яиц мне поискали, а то, вон, куры совсем яйца нести перестали, всё без яиц приходят.

— Какие куры?

— Как какие — все почти. Вон сегодня шпанки пришли без яиц, а вчера сама щупа-

ла — сегодня должны были снестись; пестро-хвостая вот уже третий день, как ничего не носит; хохлатка тоже, безножка, да все, все...

— А где же искать-то?

— Как, где искать — везде ищите. Под каретником поищите, под конюшнями, за погребками, за домом, в сарае, на бане, — везде, везде надо поискать.

Мы, разумеется, тотчас же отправились на поиски.

Сначала мы спустились под каретник, через дыру, прорытую в это подземелье собаками, которые залезали туда зимой в большую стужу. Долго и совершенно напрасно ползали мы на четвереньках в какой-то крошечной тьме, попеременно стучаясь то лбом, то затылком о здоровенные балки, на которых был утвержден пол каретника и, попадая руками, щупавшими дорогу в темноте, на разные грибы, поросли и какую-то слизь, облепившие стены и потолок подземелья; но при всем усердии поиски наши оказались бесполезными. Тогда, вылезши из подземелья, мы устремились дальше и с не меньшей добросовестностью обшарили такую же яму под ко-

нюшной, спустились в промежуток между погребами и забором — тут всё осмотрели несколько раз, и с полнейшим вниманием обошли вокруг дома и, не найдя нигде ничего, направились в сарай. В сарае этом лежали дрова и был навален всякий хлам, вроде старых колес, дровень, поломанных дуг и оглобель, битых бочонков и кадушек и проч. и проч. И бочонки, и кадушки, и оглобли, и дрова, и дуги — все было по несколько раз потревожено нами с мест, но все-таки яиц мы нигде не нашли. Тогда мы поднялись на баню, стоявшую бок о бок с сараем и отделенную от соседнего двора высоким забором, так что между зданием бани и забором оставался промежуток в каких-нибудь пол-аршина ширины. Влезши на баню, общество искателей потерянных курами яиц старательно осмотрело все углы и закоулки и уже готовилось после бесполезных поисков спуститься вниз, — как вдруг кто-то заметил узкую щель между баней и забором.

— Господа! это что? Посмотрите-ка.

Господа посмотрели и тотчас же решили, что тут-то, должно быть, куры и свили себе

гнезду, тут-то они и складывают яйца. Теперь оставалось только еще решить, каким образом можно попасть в эту щель. Пробовали мы сначала спуститься туда прямо с бани, но проба эта скоро оказалась не достигающей цели. Проба окончилась лишь разрывом панталон на самом колене да порядочной ссадиной на руке, причем пробовавший не спустился даже и наполовину. Тогда решено было обойти баню кругом и попробовать лезть с того места, где начинал отгораживать баню от соседского двора забор. Так и сделали: я полез вперед, за мной младший брат, как более смелый, а средний потянулся последним. Проползти нужно было так примерно сажень десятков. Хотя темноты тут особенной не было, но подвигаться вперед все-таки нужно было с большой осторожностью, потому что из забора торчали концы гвоздей, да и самая стена бани была не слишком-то гладкая.

— Вы, ребята, осторожнее, — предупреждал я братьев.

— А что?

— А то, что я сейчас было чуть-чуть не хватился лбом об какой-то деревянный кол, кото-

рый вон налево торчит в стене.

Но едва я успел проговорить эту предупреждающую фразу, как почувствовал в спине необыкновенно жгучую боль, точно с меня кто-нибудь кожу начал сдирать.

— Ай! ай! — невольно крикнул я и остановился.

— Ты что? — спросил меня маленький брат.

Я изогнулся, как только было можно, и подставил брату спину.

— Смотри скорее, что там у меня на спине?

Брат приставил лицо к моей правой лопатке, — по его горячему дыханию я это почувствовал, — и начал рассматривать.

— Ну?

— Да ты себе рубашку гляди-ка как располосовал! — сообщил Семен. — Э-э-э! — вдруг воскликнул он. — Да у тебя кровь...

— Где?

— А тут же на спине.

— И много?

— Да, порядочно-таки: так шкура и заворотилась!

— Ну, помажь слюнями.

Семен исполнил.

— А теперь?

— Теперь ничего; я все слюнями замазал.

Я двинулся вперед, и братья потянулись за мною. Как и следовало ожидать, никакого куриного гнезда и никаких яиц мы тут не нашли, а только в конце щели приползли к какому-то отверстию, вырытому под забором словно бы собаками, и выведившему на какой-то совершенно неизвестный нам двор. Мы поочередно просовывали головы в эту вновь открытую дыру, но никто из нас не мог определить, на чей именно двор выходит она. Тогда мы решились расширить отверстие настолько, чтобы в него можно было пролезть и освидетельствовать точнее неизвестную нам местность. Сказано — сделано. Трое усердных работников в одну минуту исполнили задуманное и разом очутились на соседнем дворе. Точно испанцы, открывшие Америку, пораженные и изумленные, стояли мы у своей дыры, ведущей в столь известную нам Европу, то есть — за баню, и решительно не могли придумать, куда мы попали. Кажется, совершенно такими же чувствами были одержимы

и петух, некоторое время смотревший на нас каким-то вопросительным знаком и затем поспешно скрывшийся неизвестно куда, и серая небольшая собачонка, обзревавшая нас и тотчас же стремительно бросившаяся за ворота и уже оттуда выставившая голову, чтобы обстоятельнее наглядеться на отважных пришельцев.

Дворик был небольшой и был кругом застроен разными хлевушками, клетушками, сарайчиками и прочими так называемыми холостыми пристройками, примыкавшими к небольшому же жилому флигельку. У окон флигелька, выходявших во двор, росло несколько довольно густых кустов акаций, так что зелень их закрывала нас от жильцов флигелька. Мы двинулись вперед и порешили первым делом освидетельствовать все эти холостые пристройки. Заглянули в одну — дрова лежат, заглянули в другую — коровник, попробовали отворить дверь еще в какую-то пристройку — дверь оказалась запертою. Хозяйничанье наше, как оказалось, не совсем понравилось серой собачонке, наблюдавшей за нами из-под ворот, и она лениво твякнула;

мы погрозили ей — собачонка еще тявкнула раза два. Собачий лай, как надо думать, долетел куда следует, и в полуотворившуюся входную дверь высунулась из флигелька чья-то голова, косматая-косматая такая, так что за волосами, беспорядочно спускавшимися на лицо, совершенно нельзя было разобрать, кто это, мужчина или женщина, взрослый человек или малолеток. Голова, хотя и сквозь густую сетку волос, но все-таки, должно быть, с любопытством рассматривала нас — так по крайней мере нужно было судить по тому неподвижному положению, в котором она пробыла несколько секунд; мы тоже пристально созерцали голову, но на всякий случай попятились поближе к дыре, чтобы легче было обратиться в бегство, если в том случится надобность.

— Я вас! — вдруг погрозила нам голова кулаком.

Мы хотя и попятились еще несколько, тем не менее не струсили и тоже показали кулаки.

Тогда голова заблагорассудила для большего устрашения нас вытащить за собою и туло-

вище, и мы увидели на крыльце флигеля девочку, или, вернее сказать, отроковицу лет четырнадцати-пятнадцати, одетую совершенно по сезону, то есть в одной сорочке, едва прикрывавшей колени. Голова, превратившаяся теперь в недораздетую отроковицу, сделала нетерпеливое движение вперед, показывавшее, что она намерена напасть на нас.

— Голодрыга! — разом крикнули мы и отступили еще немного.

Отроковица сбежала с крыльца и нагнулась, думая, вероятно, поднять что-нибудь и бросить в нас. Но мы предупредили такой коварный замысел: схвативши несколько комьев крепко спекшейся земли, мы разом осыпали ими неприятеля, который тотчас же и обратился в бегство, испустив при этом пронзительный визг. Как люди, понаторелые в боях, мы, однако ж, не обратили никакого внимания на такой неприятный визг, а, поднявши еще по комку, повторили залп и тогда уже юркнули в дыру восвояси.

— Динь! динь! динь! — звенели разбитые стекла в то время, как мы поспешно пробирались вдоль щели.

Выбравшись на божий свет, мы тотчас же поднялись на баню и из-под крыши стали наблюдать за суматохой, произведенной нами на соседском дворике.

Прежде других на дворике появилась уже знакомая нам «голодрыга» и следом же за ней какая-то маленькая, запачканная старушонка с ухватом в руках, должно быть, кухарка; за этой парой выскочила толстая-толстая пожилая женщина, тоже в костюме отроковицы, а за нею молодой мужчина, тоже в дезабилье.

— Где же они? — спросила толстая, бросая глазами по двору.

— Убежали, маменька, должно быть, — отвечала отроковица, заглядывая всюду.

— Да они ли?

— Они, они: разбойники с большого двора, что на ту улицу. Сама видела!

— Они — вот и нора ихняя, — подтвердила запачканная старушонка.

Все подошли к норе и начали рассматривать.

— Нет, это изумительно! — скрестивши руки на груди и в раздумье поникнув головою,

проговорил мужчина. — Как хотите, маменька, а вы должны, вы непременно должны идти жаловаться! — прибавил он, небрежноковыряя босою ногою землю.

— Да жа-арко! — лениво промычала толстая.

— Нет, нет, идите и жалуйтесь! Одевайтесь и идите, идите и жалуйтесь! — трагически изрек мужчина и, повернувшись на голой пятке, направился к крыльцу; за ним последовали и все остальные.

При слове «жаловаться» у нас, признаться, екнули-таки сердца, и только неохота, с которой толстая женщина шла жаловаться, да отсутствие отца еще несколько и утешали нас. В ожидании прихода жалобщицы и принесения ею самой жалобы, мы положили залечь на бане, а Семена, как самого маленького и потому менее заметного, отрядить соглядатаем, который, спрятавшись где-нибудь за дверью, за шкафом или в ином тайном месте, выслушал бы все и затем известил нас для дальнейших распоряжений. Так и сделали. Но оказалось, что тревога была совершенно напрасная, так как Семен возвратился чуть не

через несколько минут и доложил, что жалобщицу зовут Лизаветой Фортунатовной и что она «даже и жаловаться не умеет», потому что отозвала маменьку куда-то в сторону да и пошептала ей что-то, а маменька ей на это сказала: «Хорошо», — вот все.

При таком счастливом известии мы подпрыгиваем горошком.

— Сеня! ты видел ее? — спрашиваем мы соглядатая.

— Ви-идел... Она смешная такая — мне пальцем погрозила...

— А ты что?

— А я язык показал.

— А она?

— А она... она сказала, что вы дураки! — чтобы отвязаться от докучных вопросов, отрывает маленький братишка и сбегает с бани, а следом за ним и мы.

Когда мы пришли во флигель, мы увидели жалобщицу и маменьку, уже сидящими за чаем и разговаривающими самым дружелюбным манером.

— А много у вас деточек? — спрашивает матушка.

— И-и... — махнула рукой вместо ответа гостя. — Сама, голубушка, не знаю, когда я их столько напорол: ведь пять человек!

— И большенькие всё?

— Какое большенькие, — самой маленькой кобыле вот пятнадцатый год идет... Кормить не придумаю чем: всю съели они меня! Мясо как увидят, так, как волки, всё без хлеба норовят сожрать.

— И мужчинки есть?

— Два стоялых-то... а три — девки.

— Служат мужчинки-то?

— Один служит, а другой учится в гимназии, да все отучиться не может, вот уж четырнадцать лет туда ходит, а все нет конца.

— Что же так?

— Да бог его знает... Имеет он, видите ли, большую приверженность к театру, так вот из-за этого, должно быть. Один раз в какой-то игре там, уж я вам сказать не могу, херувимом в лодке летал, так прознали да за это на целый год в классе и оставили; а то историю не выучил, а все по-трагическому ролю какую-то рассказывал — за это тоже; да еще, да еще, — так вот оно, год к году, а теперь и на-

бралось их... черту в шапку не упрячешь.

Соседка погостила-таки у матушки довольно долго, рассказала о своем горьком вдовстве, научила, как делать хороший квас, и вообще оказалась женщиной очень доброй и хорошей собеседницей; нам же она особенно понравилась за то, что не была ябедницей.

— Так помните же: по-за баней, — уходя и прося матушку навестить ее, сообщила свой адрес соседка. — Только и помните: по-за баней, — переваливаясь, как жирная утка, кричала соседка, дойдя до середины двора. — По-за баней, — помните! — крикнула она наконец от ворот и скрылась, еще раз крикнув уже с пути: — По-за баней!

Баня эта нам всегда казалась каким-то страшилищем, потому что, по частым рассказам Максима, самая чертовщина-то в ней именно и жила.

— Ведьмы, окаяшки, проклятые, домовые, — это все в бане живет! — с положительностью заявлял кучер всегда, когда разговор касался бани.

— А что это такое «проклятые»?

— А от которых отец с матерью отказа-

лись.

— Они с хвостами?

— Так с махонькими.

— Ты их видел?

— Голова с мозгом! Разве его можно видеть, когда он тебя разорвет?

— Что же они все в бане делают?

— Играют.

— Ну, Максимушка, а черт ест что-нибудь?

— Известно, ест: нешто без еды проживешь...

— Что же он ест?

— Грешницкие души.

— А ведьмы?

— А ведьмы... вот которая девка набалуует ребенка, да девать его ей некуда, она и удавит, — так ведьма сейчас ухватит, да и сожрет его — и т. д. и т. д.

Словом, разговор об чертовщине — один из любимейших разговоров Максима, и когда он, бывало, насыдет на этот разговор, то тут его только слушай: мужик наш, что называется, развирается до *зеленой лошади*.

Мне баня особенно памятна потому, что в ней рожала наша мать; следовательно, появ-

ление на свет каждого нового карапуза, имеющего впоследствии дивить и страшить okolоток своими подвигами, непременно связывалось с баней. Обыкновенно матушку отводили туда заблаговременно, а нас всех, и мальчиков и девочек, сбивали в одну какую-нибудь комнату и оставляли здесь под надзором няньки, все той же глухой и слепой Савельевны. Когда наступал самый момент родов, отец выводил нас из заточенья в залу и здесь всех ставил на колени перед образом и приказывал просить бога, чтобы он поскорее послал нам братца или сестрицу. Установивши нас и научивши, о чем просить, родитель удалялся к роженице, а мы, соскучившись стоять на коленях, заводили какую-нибудь игру, причем один сторожил, чтобы отец не нагрянул как-нибудь внезапно.

— Идет! идет! — кричит сторожевой и первый бухается на колени.

Остальные, разумеется, делают то же.

— Ну что, молились?

— Молились, папенька.

— Хорошо молились?

— Хорошо, папенька.

— Ну, вот вам бог за это послал братца (или: «сестрицу», если бог послал сестрицу). Вставайте!

Мы встаем и поздравляем отца.

— А с кем, папенька, бог прислал? — решается спросить кто-нибудь.

— Ну вот, когда вырастешь, тогда узнаешь; а теперь, поди-ка займись чем-нибудь, а глупые вопросы выбрось из головы.

Раз такое появление на свет нового карапуза едва не ввело нас, мальчиков, в большую беду, а именно...

День родов, как нарочно, совпал с днем кулачного боя; мы же, мальчики, постоянно посещали эти бои и считались на них одними из лучших *задирал* (прежде чем взрослые начинали ломать друг другу бока и сворачивать скулы, обыкновенно с той и другой стороны выпускались малолетки, которые *заводили бой, зачинали, задирали*). Разумеется, как же отказаться от такого удовольствия? И вот недолго думая мы собрались и махнули! Дело было зимой, так часов после двух. Все шло, по-видимому, наилучшим образом: уже у меня красовался под глазом отличнейший фо-

нарь, и в схватку мы ходили раз пять, — как вдруг налетевший невесть откуда Максим разом выхватил нас из самого пыла битвы.

— Вы, кажется, об двух головах, как посмотрю я на вас! — бурчит Максим, таща нас домой.

— А что? — испуганно спрашиваем мы.

— Как что? Разве не знаете: маменька рождает, тятенька воюет, женский пол уж давно на коленках перед образом стоит, а они спрашивают: что?

По счастью, мы пришли домой в то время, когда отец отправился в баню, к роженице, почему мы, без дальних рассуждений, сейчас же стали в ряд с сестрами на колени, и возвратившийся с известием о благополучном разрешении от бремени отец уже застал нас молящимися, стало быть, исполнившими свое дело. Сердце родителево, при виде такой картины, невольно смягчилось...

Меня отдали в гимназию, и гимназия эта чуть не сразу разрушила наш годами созданный триумвират. Шесть часов ежедневных занятий, новые обычаи и стычки, новые това-

рищества — все эти причины, в совокупности и порознь, сделали то, что имя главных и страшных *братьев-разбойников* сначала как будто потускнело, а потом и совершенно потеряло всякую цену в глазах околотка, для которого еще так недавно мы были настоящей грозой. Правда, иногда вырывались кое-какие отдельные случаи, вроде разбития стекол, угона лодки, избиения и проч., но на них так уж и смотрели, как на явления единичные.

— Нет, вы бы прежде посмотрели, что тут было, — вспоминали бывшее вздохнувшие на свободе обыватели, — так диву надо было даваться!

— Ужли ж хуже теперешнего?

— О-о! что вы! Никакого сравнения с теперешним-то нет. Тут ежели прошел мимо ихнего двора, да в ухо тебе не попало, так благодари всевышнего! Встретил ты их, да не обнесли они тебя всякими черными словами, так свечку ставь! Вот как тут было!..

— Нет, теперь слава богу!

— Теперь, благодарить создателя, совсем полегшало.

А через год, прибавим мы от себя, так и со-

всем близким к нам обывателям стало легко, потому что и второго брата определили в гимназию, так что пугалом околотка остался только один младший братишка, Семен, — ну, да один в поле не воин!

Примечания

Братья-разбойники. Впервые опубликовано в журнале «Дело», № 8 за 1872 год.

В советское время рассказ был переиздан в книге «Рассказы о старом Саратове» (Саратовское областное издательство, 1937).

В «Братьях-разбойниках», имеющих автобиографический характер, Воронов повествует о светлой стороне детских лет, проведенных им в Саратове.

[^^^]